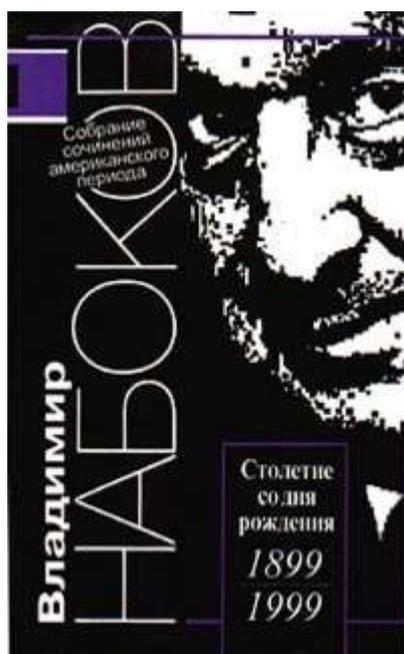


## Владимир Владимирович Набоков Со дна коробки [сборник рассказов]



<http://nabokov.niv.ru/nabokov>, <http://lib.rus.ec/a/8621>, <http://lib.ru/NABOKOW>

*Перевод: Сергей Ильин*

## Аннотация

*Собрание рассказов Набокова, написанных им по-английски с 1943 по 1951 год, после чего к этому жанру он уже не возвращался. В одном из писем, говоря о выходе сборника своих ранних рассказов в переводе на английский, он уподобил его остаткам изюма и печенья со дна коробки. Именно этими словами «со дна коробки» и решил воспользоваться переводчик, подбирая название для книги.*

### **Содержание:**

- *Помощник режиссера*
- *Как-то раз в Алеппо...*
- *Забывший поэт*
- *Превратности времен*
- *Групповой портрет, 1945*
- *Знаки и символы*
- *Сцены из жизни двойного чудовища*
- *Сестры Вэйн*
- *Ланс*

## Владимир Набоков Со дна коробки

### 1. ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА

#### 1

И как же это понимать? Да видите ли, порою жизнь именно и бывает – помощником режиссера. Сегодня пойдем в кино. Назад в тридцатые и дальше – в двадцатые, а там уж рукой подать до старенького европейского «Иллюзиона». Она была знаменитой певицей. Не опера, нет, даже не «Сельская честь». «La Slavka» звали ее французы. Стиль: десятая доля цыганщины, одна седьмая от русской бабы (каковой она и была изначально) и на пять девятых «расхожий», – под «расхожим» я разумею гоголь-моголь из поддельного фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Дроби, оставшейся незаполненной, довольно, полагаю, чтобы дать представление о физическом великолепии ее необыкновенного голоса.

Выйдя из мест, бывших, по крайней мере географически, самым сердцем России, она с годами достигла больших городов – Москвы, Санкт-Петербурга, а там и Двора, где стиль этого рода весьма одобрялся. В артистической Федора Шаляпина висела ее фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая щеку рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули поперек: «Тебе, Федюша». Снежные звезды, являвшие, пока не оплывали края, свое симметрическое устройство, нежно ложились на плечи, на рукава, на шапки и на усы, ждущие в очереди открытия кассы. До самой смерти своей она пуще любых сокровищ берегла – или притворялась, что бережет, – затейливую медаль и громоздкую брошь, подаренную царицей. Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год – все более дорогую): скажем, аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиною в арбуз, увенчанный золотым орлом с квадратными бриллиантовыми глазами, очень похожими на Распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символические из этих поделок на Всемирной Выставке – в качестве образчиков своего процветающего искусства).

Шло бы все так, как должно было по всем приметам идти, она могла бы еще и сегодня выступать в оснащем центральным отоплением Дворянском Собрании или в Царском, а я выключал бы поющий ее голосом приемник в каком-нибудь дальнем степном углу Сибири-матушки. Но судьба сбилась с пути, и когда приключилась Революция, а за нею – война Белых и Красных, ее лукавая крестьянская душа выбрала партию попрактичней.

Сквозь тающее имя помощника режиссера мы видим, как мчатся вскачь призрачные полки призрачных казаков верхами на призрачных лошадях. Затем возникает подтянутый генерал Голубков, лениво озирающий поле боя в театральные бинокль. Когда фильмы и мы еще были молоды, нам обычно показывали то, что открывалось взорам, в двух аккуратных слепленных кружках. Теперь не то. Теперь мы видим, как вялость покидает Голубкова, как он взлетает в седло, мгновенье маячит в небе на вздыбленном жеребце и бешено скачет в атаку.

Но вот неожиданный инфракрасный в спектре Искусства: вымещая условный пулеметный рефлекс, – привычное «тра-та-та», женский голос запекает вдаль. Он близится, близится, и наконец, заполняет собою все. Прекрасное контральто ширится в русских напевах, наобум набранных музыкальным директором в студийном архиве. Кто это там, во главе инфракрасных? Женщина. Певучая душа вон того, отменно обученного батальона. Идет впереди, топчет люцерну и разливается в песне про Волгу-Волгу. Подтянутый и бесстрашный джигит Голубков (теперь-то нам ясно, кого это он углядел), невзирая на множество ран, на полном скаку подхватывает красиво бьющуюся добычу и мчит ее вдаль.

Странное дело, но сама жизнь разыграла этот убогий сценарий: я лично знал по меньшей мере двух очевидцев события; часовые истории пропустили его, не окликнув. Вскоре

мы видим ее сводящей с ума офицерское общество своей полногрудой красотой и буйными, буйными песнями. То была Belle Dame с порядочной примесью Merci и с напором, коего недоставало Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. Она подсластила горечь отступления Белых, начавшегося вскоре за ее появлением в стане генерала Голубкова. Мы видим мрачные промельки воронов или ворон или каких там птиц удалось раздобыть, чтобы реяли в сумерках и опускались, кружа, на усеянную телами равнину где-нибудь в округе Вентура. Окоченелая рука солдата белых сжимает медальон с портретом матери. А на развороченной груди павшего рядом красного бойца трепещет письмо из дома, и та же старушка моргает за его наплывающими на зрителя строками.

И следом привычный контраст: взрывается бравурная музыка, слышится пение, мерно хлопают руки, топают сапоги – перед нами попойка в штабе генерала Голубкова: танцует с кинжалом точеный грузин, смущенный самовар перекашивает лица, и Славская, гортанно смеясь, откидывает голову, и в стельку пьяный жирный штабной, раздирая ворот и выпячивая сальные губы для скотского поцелуя, тянется через стол (крупный план опрокинутого стакана), чтобы облапить – пустоту, ибо подтянутый и совершенно трезвый Голубков ловко выдергивает ее из-за стола, и они стоят перед пьяной оравой, и Голубков произносит холодным и ясным голосом: «Господа, вот моя невеста», – и в наступившем ошеломленном молчании шальная пуля пробивает засиневшее на рассвете стекло, и канонада рукоплексаний приветствует романтическую чету.

Я почти не сомневаюсь, что ее пленение не было только игрою случая. Случайности на студию не допускаются. И еще менее сомневаюсь я в том, что, когда начался великий исход, и они, подобно многим иным, потянулись через Секердже к Мотц-штрассе и рю Вожирар, генерал с женою уже трудились на пару, общая была у них песня и общий шифр. Став, что было вполне естественно, деятельным членом Б.Б. («Союза Белых Бойцов»), он неустанно разъезжал, организуя военные курсы для русских юношей, устраивая благотворительные вечера, подыскивая пристанища для бездомных, улаживая местные разногласия – и все это самым скромным, непритязательным образом. Я думаю, какая-то польза от него все же была – от этого Б.Б. Но на беду для его духовного здоровья, он не смог обособиться от монархических группировок, не сознавая того, что создала эмигрантская интеллигенция: невыносимой пошлости, ура-гитлеризма этих потешных, но противных сообществ. Когда благонамеренные американцы спрашивают, знаком ли мне обаятельный полковник Такой-то или величавый старый князь де Вышибальски, у меня не хватает духу открыть им прискорбную правду.

Хотя, разумеется, состояли в Б.Б. и личности иного разбора. Я говорю о тех искателях приключений, что, служа общему делу, переходили границу где-нибудь в оглушенном снегом еловом бору, и побродив по родной стороне в обличиях, некогда употреблявшихся, странно сказать, эсерами, мирно возвращались, доставляя в маленькое парижское café под вывеской «Esh-Bublik» или в крошечную, без вывески, берлинскую «Кнеире» разные полезные разности, какие шпионы обыкновенно доставляют своим хозяевам. С течением времени иные из них запутались в хитросплетеньях иноземных разведок и забавно подсакивали, когда к ним подходили сзади и хлопали по плечу. Другие хаживали за кордон для собственного удовольствия. Один или двое, возможно, и вправду верили, что каким-то таинственным образом готовят воскрешение священного, пусть отчасти и затхлого прошлого.

## 2

Нас ожидает теперь черед несосветимо скучных событий. Первый из почивших председателей Б.Б. стоял во главе всего Белого Движения и, безусловно, был самым достойным в нем человеком; кое-какие смутные симптомы, сопровождавшие его неожиданный недуг, приводят на ум тень отравителя. Его преемника – крупного, сильного мужчину с громовым голосом и головой, как пушечное ядро, – похитили неизвестные, и есть основания полагать, что умер он от непомерной дозы хлороформа. Третий председатель – однако моя бобина крутится слишком шибко. На деле, устранение первых двух взяло семь лет, и не потому, что такие дела быстрее не делаются, а просто имелись особые обстоятельства, и они диктовали

точные сроки, ибо надлежало соразмерять внезапность возникновения вакансий с постепенным продвижением по службе некоего лица. Объяснимся.

Голубков был не только многократным шпионом (тройным, говоря точнее), но также и преамбициозным человечком. Почему мечты о главенстве в организации, одной ногой стоящей в могиле, так тешили его душу – загадка лишь для того, кто не ведает ни увлечений, ни страстей. Ему страсть как хотелось, вот и все. Труднее понять его уверенность в том, что он сумеет сохранить свою ничтожную жизнь, затесавшись меж грозных противников, чьи опасные деньги и опасную помощь он принимал. Мне понадобится все ваше внимание, потому что будет жаль, если вы упустите тонкости этой картины.

Советы навряд ли тревожила весьма маловероятная перспектива того, что химерическая Белая Армия сумеет когда-либо возобновить военные действия против их слитной машины; но то обстоятельство, что крохи информации об их фортах и фабриках, собираемые пронырами из Б.Б., автоматически попадают в благодарные немецкие руки, раздражало их чрезвычайно. Немцев же мало интересовали трудноразличимые цветовые оттенки эмигрантской политики, – но сердил бестолковый патриотизм председателя Б.Б., время от времени воздвигавшего на этических основаниях препону гладкому потоку дружеского сотрудничества.

Получалось, что Голубкова едва ли не Бог послал. Советы питали твердую уверенность, что при его главенстве все шпионы Б.Б. будут им ведомы и хитроумно снабжаемы ложными сведеньями на жадную немецкую потребу. Равно и немцы не сомневались, что сумеют при нем внедрить изрядное множество своих абсолютно надежных людей в ряды обычных агентов Б.Б. Ни одна из сторон не обманывалась касательно преданности Голубкова, но каждая надеялась обратить к собственной выгоде его переменчивое вероломство. Ну а чаяния простых русских людей, семейств, тяжко трудящихся в отдаленных частях российской диаспоры, перебиваясь скудным, но честным промыслом, словно и не покидали они Саратова или Твери, растящих хилых детей и наивно почитающих Б.Б. своего рода рыцарством Круглого Стола, олицетворяющим все, что было и будет милого, достойного, сильного на баснословной Руси, – эти чаянья наверняка покажутся монтажерам чрезмерным уклонением от главной темы картины.

При основании Б.Б. кандидатура генерала Голубкова (разумеется, чисто теоретическая, ибо смерти председателя никто не ожидал) располагалась в самом низу списка, – не то чтобы соратники-офицеры не ценили его легендарной отваги, а просто он оказался самым молодым генералом в Армии. Ко времени выборов следующего председателя, Голубков уже обнаружил столь разительные организаторские способности, что полагал для себя возможным уверенно вымарать несколько имен, промежуточных в списке, спасая, кстати сказать, жизни их обладателям. По устранении второго генерала многие члены Б.Б. были убеждены, что очередной кандидат – генерал Федченко – уступит человеку помоложе и порасторопней его те привилегии, вкусить от которых ему позволяли возраст, доброе имя и академическая выучка. Однако старик, хоть и испытывал сомнения относительно вкуса предполагаемых яств, счел за трусость уклонение от поста, уже двоим стоившего жизни. Пришлось Голубкову, стиснув зубы, рыть новую яму.

Ему не доставало внешней привлекательности. Не было в нем ничего от столь популярного у вас русского генерала – то есть особи здоровой, дородной, толстошей и пучеглазой. Он был тощ, узок, остролиц, с пробритыми усиками и прической, у русских называемой «ежиком» – короткой, колючей, стоящей торчком и плотной. Тонкий серебряный браслет облегал его волосистое запястье; он угощал вас домодельными русскими папиросами или английскими «Karstens», как он их называл, аккуратно уложенными в старый поместительный портсигар черной кожи, который сопутствовал ему в предположительном дыму бесчисленных битв. Он был до крайности вежлив и до крайности неприметен.

Всякий раз что Славская «принимала» в доме у какого-либо ее покровителя (бесцветного балтийского барона; доктора Бахраха, чья первая жена была знаменитой Кармен; русского купца старого закала, отменно коротавшего время в обезумелом от инфляции Берлине, где он скупал дома прямо кварталами – по десять фунтов штука), безмолвный муж ее неприметно сновал по гостиной, принося вам бутерброд с колбасой и огурчиком или запотелую стопку водки; и пока Славская пела (на этих непринужденных вечерах она обыкновенно

певала сидя, с кулаком у щеки и баюкая локоть в ладони), он стоял в сторонке, к чему-нибудь прислонясь, или на цыпочках крался к далекой пепельнице, чтобы нежно поставить ее на толстый подлокотник вашего кресла.

Пожалуй, в рассуждении актерства он малость пережимал по части неприметности, нечаянно внося в создаваемый образ черты наемного лакея, – что задним числом представляется удивительно точным; с другой стороны, он, полагаю, пытался выстроить роль на контрасте и, верно, испытывал упоительный трепет, узнавая по определенным сладостным знакам – наклону головы, вращению глаз, – что в дальнем углу комнаты Такой-то привлекает внимание новичка к тому обаятельному обстоятельству, что столь невзрачный, скромный человек совершал в пору легендарной войны небывалые подвиги (в одиночку брал города и прочее в этом роде).

### 3

В те дни (немногим раньше, чем дитя света выучилось говорить) немецкие фильмовые компании, плодившиеся, точно поганки, задешево нанимали тех из русских эмигрантов, чьим единственным упованием и ремеслом оставалось их прошлое – то есть людей вполне нереальных, – дабы они представляли в картинах «реальную» публику. От такого сцепления двух фантазмов человеку чувствительному начинало казаться, будто он очутился в зеркальной камере или, лучше сказать, в зеркальной тюрьме, где уже и себя-то от зеркала не отличишь.

Так вот, когда я вспоминаю берлинские и парижские залы, где пела Славская, и попадавшихся там людей, мне чудится, будто я переснимаю на «техникolor» и озвучиваю какую-то допотопную фильму, в которой жизнь представала сереньким трепыханьем, похороны – резвой пробежкой, и только море было окрашено (тошной синькой), а за экраном неведомо кто крутил ручку машины, невпопад имитируя шум прибора. Некий темный субъект, кошмар благотворительных обществ, лысый, с безумным взором, наискось переплывает поле моего зрения (напоминая сидячей позой пожилого зародыша) и чудесным образом всаживается в кресло заднего ряда. Наш милый князь тоже здесь во всей красе: стоячий воротничок и линиялые гетры. И маститый, но приверженный мирскому батюшка с крестом, мерно вздымающимся на его обширной груди, сидя в первом ряду, смотрит прямо перед собой.

Выступавшие на этих, воскрешаемых в моей памяти именованной Славской, празднествах русских правых отличались природой столь же призрачной, что и публика, их посещавшая. Виртуоз-гитарист с поддельной славянской фамилией, из тех, что мелькают в мюзик-холльной афишке среди первых дешевых ее номеров, здесь пожинал небывалые лавры, – и ослепительная роскошь его инкрустированного стеклом инструмента, и шелковые небесно-голубые штаны, приходились под стать остальному действу. Следом за ним выходил пожилой бородатый прохвост в ветхой визитке, бывший член союза «Святая Русь превыше всего», и расписывал, что вытворяют с русским народом Сыны Израилевы и масоны (два потаенных семитских клана).

А теперь, дамы и господа, мы имеем огромную честь и удовольствие... И она возникала на жутком фоне из пальм и национальных флагов, и облизывала бледным языком обильно накрашенные губы, и возлагала лайковые ладони на стянутый корсетом живот, а тем временем ее постоянный аккомпаниатор, мраморноликий Иосиф Левинский, забредавший в тени ее пения и в личный концертный зал царя, и в салон товарища Луначарского, и в неопишуемые константинопольские заведения, проигрывал короткую вступительную фразу, несколько нотных камушков, брошенных в виде мостика поперек ручья.

Иногда, в определенного толка домах, она начинала с исполнения национального гимна, а там уж переходила к бедноватому, но с неизменным восторгом принимаемому репертуару. За гимном неизменно следовала «Старая калужская дорога» (с разбитой молнией сосной на сорок девятой вирше), а затем песня, начинавшаяся – в немецком переводе, отпечатанном пониже русского текста, – словами «Du bist im Schnee begraben, mein Russland»<sup>1</sup>, и

<sup>1</sup> Ты погребена под снегом, моя русская земля (нем.)

старинная народная (сочиненная в восьмидесятых частным лицом) – про разбойничьего атамана и его персидскую красавицу-княжну, которую он, обвиненный товарищами в мягкотелости, выкинул в Волгу.

Вкус у нее был никакой, техника беспорядочная, общий тон ужасающий; и все же люди, для которых музыка и сентиментальность – одно, или те, кто желал, чтобы песни доносили дух обстоятельств, в которых они их когда-то впервые услышали, благодарно отыскивали в могучих звуках ее голоса и ностальгическое утешение, и патриотический порыв. Считалось, что она особенно трогает душу, когда звучит в ее пении нота буйного безрассудства. Кабы не вопиющая фальшь этих порывов, они еще могли бы спасти ее от законченной пошлости. Но то мелкое и жесткое, что заменяло Славской душу, лезло из ее пения наружу, и наивысшим достижением ее темперамента, – был водокрут, но никак не вольный поток. Когда теперь в каком-нибудь русском доме заводят граммофон, и слышится ее законсервированное контральто, я с некоторым содроганием вспоминаю эту мишурную имитацию вокального апофеоза: последний страстный вопль обнаруживал всю анатомию рта, красиво веяли иссиня-черные волосы, скрещенные руки притискивали к груди увитую в ленты медаль, – она благодарила за оргию овец, и ее широкое, смуглое тело оставалось скованным, даже когда она кланялась, втиснутое в тугой серебристый атлас, придававший ей сходство не то со снежной бабой, не то с почетной ундиной.

#### 4

Теперь вы увидите ее (ежели цензор не сочтет дальнейшее оскорблением религиозного чувства) преклонившей колена в медовой дымке переполненной русской церкви, сладко плачущей бок о бок с женой или вдовой (она-то в точности знала – с кем) генерала, чье похищение так ловко устроил ее муж, и так толково произвели те крупные, расторопные, безымянные мужчины, которых шеф прислал в Париж.

Вы увидите ее также в иной день, два-три года спустя, поющей в одной квартирке на рю Жорж-Санд для тесного круга поклонников, – смотрите, глаза ее чуть сужаются, поющая улыбка тает, это муж, задержанный улаживаньем последних деталей одного подручного дельца, проскальзывает в залу и с мягким укором отвергает попытку седого полковника уступить ему место; и сквозь бессознательные рулады, изливаемые в десятитысячный раз, она (слегка близорукая, как Анна Каренина) вглядывается в мужа, пытаясь различить некие знаки, и вот, когда та, наконец, потонула, и уплыли расписные челны, и последний предательский круг на поверхности Волги-реки (округ Самара) расточился в унылой вечности, – ибо эту песню она всегда пела последней, – муж подошел к ней и голосом, которого не могли заглушить никакие хлопки человеческих рук, произнес:

– Маша, завтра уж дерево срубят!

Пустьячок насчет дерева был единственной актерской шалостью, которую Голубков позволил себе за все время своей мирной, по-голубиному серой карьеры. Мы простим ему эту несдержанность, если припомним, что речь шла о последнем из генералов, стоявших у него на пути, и что события следующего дня автоматически приводили его к избранию. Последнее время их друзья ласково подшучивали (птичка русского юмора легко насыщается крошками) над забавной распрей двух больших детей: она вздорно настаивала, чтобы срубили разросшийся старый тополь, затемнявший окно ее студии в их летнем пригородном домике, а он уверял, что этот стойкий старик – среди ее поклонников самый цветущий (уморительно, правда?) и хотя бы поэтому следует его пощадить. Отметим еще грубовато-добродушную дородную даму в горностаевом палантине, корящую галантного генерала за слишком поспешную капитуляцию, и сияющую улыбку Славской, раскрывшей холодные, словно студень, объятия.

Назавтра, под вечер, генерал Голубков проводил жену к портнихе, посидел там несколько времени, читая «Paris-Soir», а затем был ею отправлен за платьем, которое она собиралась расставить, да запомнила прихватить. Через уместные промежутки времени она сносно изображала телефонные переговоры с домом, громогласно направляя мужнины по-

иски. Армянка-портниха и белошвейка, маленькая княгиня Туманова, немало потешались в смежной комнате над разнообразием ее деревенской божбы (помогавшей не пересушить роль, для импровизирования которой одного лишь воображения ей не хватало). Это сшитое на живую нитку алиби предназначалось не для латания прошлого на случай, если вдруг что-то не сладится, – ибо «не сладиться» ничего не могло; а просто должно было снабдить человека, итак стоявшего вне любых подозрений, рутинным отчетом о его передвижениях, если кому-либо приспичит вдруг выяснять, кто видел генерала Федченко последним. Перерыв достаточное количество воображаемых гардеробов, Голубков объявился с платьем (разумеется, давно лежавшим в машине). Пока жена продолжала примерку, он успел дочитать газету.

## 5

Тридцати пяти, примерно, минут его отсутствия хватило с лихвой. Около того времени, когда она принялась дурачиться с молчащим вмертвую телефоном, он, уже подобрав генерала на пустынном углу, вез его на выдуманное свидание, заблаговременно обставленное так, чтобы сделать его таинственностью натуральной, а участие в нем – непременно долгим. Через несколько минут, он заглушил мотор, и оба вылезли из машины.

– Это не та улица, – сказал генерал Федченко.

– Не та, – сказал генерал Голубков, – но машину лучше оставить здесь. Не нужно, чтобы она маячила перед кафе. Мы пройдем этой улочкой, тут рядом. Всего две минуты ходьбы.

– Хорошо, пойдете, – сказал старик и откашлялся.

Улицы в этой части Парижа носят имена различных философов, и ту, которой они пошли, некий начитанный отец города назвал «рю Пьер-Лябим». Она неторопливо втекала, минуя темную церковь и какие-то строительные леса, в смутный квартал запертых особняков, отрешенно стоявших посреди собственных парков за чугунными оградами, на которых медлили по пути с голых ветвей на мокрую мостовую умирающие кленовые листья. По левой стороне улочки тянулась длинная стена, и там и сям виднелась на шершавой ее седине кирпичная крестословица; в одном месте имелась в этой стене зеленая дверца.

Когда они приблизились к ней, генерал Голубков извлек покрытый боевыми шрамами портсигар и остановился, закуривая. Генерал Федченко, человек не курящий, но вежливый, остановился тоже. Дул, ероша сумерки, порывистый ветер, первая спичка погасла.

– Я все же считаю, – сказал генерал Федченко, возобновляя разговор об одном незначительном деле, которое они на ходу обсуждали, – я все же считаю, – сказал он (чтобы хоть что-то сказать, стоя так близко к зеленой дверце), – что уж если отец Федор непременно желает платить за все это жилье из собственных средств, то мы могли бы хоть топливом его обеспечивать.

И вторая спичка погасла. Спина прохожего, смутно маячившая вдали, наконец исчезла. Во весь голос генерал Голубков выбралил ветер и, поскольку то был сигнал к нападению, зеленая дверь отпахнулась, и три пары рук с невероятной скоростью и сноровкой смахнули старика с глаз долой. Дверца захлопнулась. Генерал Голубков закурил, наконец, и торопливо пошел назад.

Больше никто старика не видел. Тихие иностранцы, на один тихий месяц снявшие некий тихий особнячок, оказались невинными датчанами или голландцами. Обман зрения, не более. Нет никакой зеленой двери, есть только серая, и ее никакими человеческими силами не взломать. Тщетно я рылся в превосходных энциклопедиях: философа по имени Пьер Лябим не существует.

Но я – я заглядывал гадине в глаза. Ходит у нас, у русских, пословица: «всего двое и есть – смерть, да совесть». Тем-то и замечательна человеческая природа, что можно порой совершить добро и того не заметить, но зло всякий творит сознательно. Один ужасный преступник, чья жена была еще хуже него, однажды рассказывал мне, – я был в ту пору священником, – что его вечно томил потаенный стыд за то, что стыд, еще более потаенный, не позволяет ему спросить у жены: презирает ли она его в сердце своем или сама втайне гадает,

не презирает ли он ее в сердце своем. Поэтому я хорошо представляю, какие были лица у генерала Голубкова и его жены, когда они, наконец, остались одни.

## 6

Впрочем, ненадолго. Часов около десяти вечера генерал Р. известил по телефону генерала Л., Секретаря Б.Б., что госпожа Федченко крайне встревожена необъяснимым отсутствием мужа. Тут только вспомнил генерал Л., что около полудня Председатель сказал ему – словно бы мельком (но таков уже был обычай старика), – что должен кое-что сделать в городе, ближе к вечеру, и что если он не вернется к восьми, то не будет ли генерал Л. любезен прочесть записку, оставленную в среднем ящике председательского стола. Теперь два генерала кинулись к кабинету, помешкали там недолго, побежали назад за ключами, забытыми генералом Л., и наконец, совершенно убежавшись, отыскивали записку. В ней говорилось:

«Меня гнетет странное предчувствие, которого я, может быть, впоследствии устыжусь. На 5.30 у меня назначена встреча в кафе на рю Декарт, 45. Предстоит знакомство с информатором с той стороны. Я подозреваю ловушку. Встречу готовил генерал Голубков, он же отвезет меня в своей машине.»

Опустим слова генерала Л., и ответные речи генерала Р. Ясно одно – соображали оба туго, да к тому же много потратили времени на путанные телефонные препирательства с гневливым владельцем кафе. Уже около полуночи Славская, кутаясь в цветистый халат и стараясь казаться заспанной, впустила их в дом. Ей не хотелось тревожить мужа, уже, как она уверяла, уснувшего. Ей хотелось узнать, в чем дело, уж не стряслось ли чего с генералом Федченко?

– Он исчез, – сообщил честный генерал Л.

– Ах! – сказала Славская и упала без чувств, едва не обрушив при этом маленькую гостиную. Что бы ни думало большинство ее поклонников, сцена потеряла в ее лице не так уж и много.

Так или иначе генералы умудрились не проговориться Голубкову о записке, и он, сопровождая их в штаб-квартиру Б.Б., полагал, что генералы и вправду намерены обсудить с ним, звонить ли в полицию сразу или прежде посоветоваться с восьмидесятивосьмилетним адмиралом Громобоевым, который по какой-то смутной причине считался Соломоном Б.Б.

– Что это значит? – спросил генерал Л., протягивая Голубкову роковую записку. – Прочитайте внимательно, прошу вас.

Голубков прочитал внимательно – и сразу же понял, что все погибло. Мы не станем заглядывать в бездну его чувств. Пожав узкими плечами, он возвратил записку.

– Если это действительно писал генерал, – сказал он, – а должен признать, рука очень похожа, то я могу сказать лишь одно – кто-то выдал себя за меня. Впрочем, я имею основания думать, что адмирал Громобоев сможет меня оправдать. Предлагаю сейчас же ехать к нему.

– Да, – сказал генерал Л., – поедem сейчас же, хоть время и позднее.

Генерал Голубков, со свистом надев дождевик, вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. отыскать его шарф. Шарф соскользнул за одно из тех кресел в прихожей, чей удел – принимать в себя не людей, а вещи. Генерал Л. вздохнул и надел старую фетровую шляпу, использовав для исполнения этого тонкого дела обе руки. Затем он шагнул к двери.

– Минуту, генерал, – понизив голос, сказал генерал Р. – Я хочу кое о чем вас спросить. Как офицер офицеру, – вы совершенно уверены, что... ну, что генерал Голубков говорит правду?

– Это нам и следует выяснить, – ответил генерал Л., принадлежавший к числу людей, которые думают, будто всякое предложение, если в нем все слова на месте, непременно что-нибудь значит.

В дверях они слегка поддержали друг дружку за локотки. Наконец генерал постарше принял уступку и не без лихости вышел. Затем оба остановились на площадке, ибо лестница

поразила их полным своим безмолвием. «Генерал!» – крикнул в пролет генерал Л. Затем они посмотрели один на другого. Затем торопливо и неловко захохотали по выщербленным ступеням вниз и вышли наружу, и встали под черной моросью, и посмотрели туда, сюда, и снова один на другого.

Ее арестовали ранним утром следующего дня. Во все время следствия она ни разу не вышла из образа убитой горем невинности. Французская полиция, исследуя возможные версии, проявляла странную вялость, словно бы считая исчезновение русских генералов своего рода занятным туземным обычаем, восточным дивом, процессом распада, без которого, пожалуй, лучше бы и обойтись, да поди его упреди. Создавалось, впрочем, впечатление, что о технике трюка с исчезновением *Sûreté*<sup>2</sup> знает куда больше, чем позволяет ей высказать дипломатическая осмотрительность. Европейские газеты писали о деле сочувственно, но как бы посмеиваясь и скучая. В общем, большого шума «*L'affaire Slavka*»<sup>3</sup> не надделало, – русская эмиграция была решительно не в фокусе. По забавному совпадению и немецкое, и советское агентства печати коротко сообщили, что два генерала Белых скрылись из Парижа, прихватив с собой казну Белой Армии.

## 7

Судебное разбирательство получилось на удивление путанным и недоказательным, свидетели отнюдь не блистали, а окончательный приговор, вынесенный Славской по обвинению в насильственном похищении, был юридически очень спорным. Незначащие мелочи постоянно заслоняли основной предмет разбирательства. Люди, не внушающие доверия, вспоминали именно то, что требовалось, и наоборот. Всплыл какой-то счет, подписанный неким Гастоном Куло, фермером, «*pour un arbre abattu*»<sup>4</sup>. Генерал Л. и генерал Р. ужасно намучились в лапах ката-адвоката. Парижский «клошар», живописно небритое существо с хорошо вызревшим красочным носом (эта роль и вовсе простая) из тех, что таскают все свое земное достояние в обширных карманах, а износивши последний носок, обертывают ступню слоями драной газеты, и вечно сидят, растопыря ноги и приладив пообок бутылку вина, под осыпающейся стеной какого-нибудь недостроенного дома, который никогда и не будет достроен, потряс публику рассказом о виденном им из удобного угла грубом обращении с пожилым человеком. Две русские дамы, из которых одну какое-то время тому лечили от острой формы истерии, показали, что в день преступления видели, как генерал Голубков куда-то вез в машине генерала Федченко. Русский скрипач, обедая в вагоне-ресторане немецкого поезда... – впрочем, что пользы пересказывать все эти несуразные домыслы.

Мелькают последние кадры – Славская в тюрьме. Смирненно вяжет в углу. Пишет, обливаясь слезами, письма к госпоже Федченко, утверждая в них, что теперь они – сестры, потому что мужа обеих схвачены большевиками. Просит разрешить ей губную помаду. Рыдает и молится в объятиях бледной юной русской монашенки, которая пришла поведать о бывшем ей видении, в котором открылась невинность генерала Голубкова. Причитает, требуя вернуть ей Новый Завет, который полиция держит у себя, – держит, главным образом, подальше от экспертов, так славно начавших расшифровывать кое-какие заметки, нацарапанные на полях Евангелия от Иоанна. Вскоре после начала Второй Мировой Войны, у нее обнаружилось непонятное внутреннее расстройство, и когда одним летним утром три немецких офицера появились в тюремной больнице и пожелали увидеть ее, немедленно, – им сказали, что она умерла, – и может быть, не солгали.

Остается только гадать, сумел ли муж дать ей знать о себе или он счел более безопасным предоставить жену ее собственным горестям. Куда он отправился, бедный *perdu*<sup>5</sup>? Зер-

---

<sup>2</sup> Уголовная полиция (*фр.*)

<sup>3</sup> Дело Славской (*фр.*)

<sup>4</sup> «За срубленное дерево» (*фр.*)

<sup>5</sup> Погибший, пропавший, исчезнувший (*фр.*)

калами возможности не заменишь замочную скважину знания. Быть может, он отыскал свой рай в Германии, получив там незначительную административную должность в Училище юных шпионов Бедекера. Быть может, он воротился в страну, где некогда в одиночку брал города. Быть может, и нет. Быть может, некто, самый-самый большой шеф, призвал его к себе и с легким иностранным акцентом, с вкрадчивостью хорошо всем нам известного сорта, сказал: «Боюсь, друг мой, вы больше нам не нужны», – и едва только X повернулся, чтобы уйти, как мягкий указательный палец доктора Пуппенмейстера нажал неприметную кнопку на краешке безучастного письменного стола, и люк разверзся под X, и он полетел навстречу смерти (он, который «слишком много знал») или переломал свои курьезные кости, рухнув прямо в гостиную пожилой четы, обитающей этажом ниже.

Как бы там ни было, представление закончилось. Вы помогаете вашей девушке надеть пальто и присоединяетесь к медленно ползущему в направлении выхода потоку вам подобных. Запасные выходы распахиваются в неожиданные боковые приделы ночи, втягивая ближние к ним ручейки. Если вы, подобно мне, предпочитаете для простоты ориентирования выходить в те же двери, какими вошли, вы скоро снова минуете афиши, что показались такими притягательными часа два назад. Русский кавалерист в полупольском мундире, склоняется с поло-пони, чтобы сгрести красотку в красных сапожках и каракулевой папахе, из-под которой выбиваются черные локоны. Триумфальная Арка трется плечом о Кремль с тусклыми его куполами. Сверкая моноклем, агент Иностранной Державы вручает генералу Голубкову связку секретных бумаг... Скорее, дети, выйдем отсюда в трезвую темноту, в шаркающую безмятежность привычных панелей, в прочный мир, полный хороших веснушчатых мальчиков и духа товарищества. Здравствуй, реальность! Как освежает вещественная сигарета после всех этих вздорных волнений! Видишь, и тот тощий, подтянутый человек тоже раскурил свою «Lookee», постучав ею о старенький кожаный портсигар.

*Бостон, 1943*

## 2. КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО...

Дорогой В. Среди прочего это письмо должно сообщить вам, что я, наконец, здесь, в стране, куда вели столь многие закаты. Одним из первых, кого я здесь встретил, оказался наш добрый старый Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший Колумбус-авеню в поисках *petit café du coin*<sup>6</sup>, которого ни один из нас троих никогда уж больше не посетит. Он, похоже, считает, что так ли, этак ли, а вы изменили нашей отечественной словесности, он сообщил мне ваш адрес, неодобрительно покачав седой головой, как бы давая понять, что получить весточку от меня – это радость, которой вы не заслуживаете.

У меня есть сюжет для вас. Что напоминает мне – то есть сама эта фраза напоминает мне – о днях, когда мы писали наши первые, булькающие, словно парное молоко, вирши, и все вокруг – роза, лужа, светящееся окно, – кричало нам: «Мы рифмы!», как, верно, кричало оно когда-то Ченстону и Калмброду: «I'm a rhyme!». Да, мы живем в удобнейшей вселенной. Мы играем, мы умираем – *ig-rhyme, umi-rhyme*. И гулкие души русских глаголов ссужают смыслом бурные жесты деревьев или какую-нибудь брошенную газету, скользкую и застывающую, и шаркающую снова, бесплодно хлопоча, бескрыло подскакивая вдоль бесконечной, выметенной ветром набережной. Впрочем, именно теперь я не поэт. Я обращаюсь к вам, как та плаксивая дама у Чехова, снедаемая желанием быть описанной.

Я женился – позвольте прикинуть – через месяц, что ли, после вашего отъезда из Франции и за несколько недель до того, как миролюбивые немцы с ревом вломились в Париж. И хоть я могу предъявить документальные доказательства моего брака, я ныне положительно уверен, что жена моя никогда не существовала. Ее имя может быть вам известным из какого-то иного источника, но все равно: это имя иллюзии. Я потому и способен говорить о ней с такой отрешенностью, как если б я был персонажем рассказа (одного из ваших рассказов, говоря точнее).

<sup>6</sup> Маленькое угловое кафе (*фр.*)

То была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, ибо я и раньше несколько раз встречал ее, не испытывая никаких особенных чувств: но однажды ночью я провожал ее домой и какой-то сказанный ею забавный пустяк заставил меня со смехом склониться и легко поцеловать ее волосы, – что говорить, всем нам знаком тот слепящий удар, который получаешь, подбирая простую куколку с пола тщательно заброшенного дома: сам солдат ничего не слышит, он ощущает лишь экстатическое беззвучие и безграничное расширение того, что было во всю его жизнь игольчатой точкой света в темном центре его существа. Собственно, причина, по которой мы мыслим смерть в небесных понятиях, в том-то и состоит, что видимая нами твердь, особенно ночью (над нашим угасшим Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и непрерывным альпийским плеском безлюдных его писсуаров), есть наиболее точный и вечный символ того огромного безмолвного взрыва.

Но я никак не могу ее разглядеть. Она остается туманной, как лучшее из моих стихотворений – то, столь жестоко осмеянное вами в «Литературных Записках». Пытаясь представить ее, я вынужден цепляться рассудком за крохотную бурую родинку на ее пушистом предплечье, – как в непонятном предложении сосредоточиваешься на знаке препинания. Может быть, если б она почаще прибегала к гриму или прибегала к нему с пушистым постоянством, я смог бы теперь увидеть ее лицо или хотя бы нежные поперечные борозды сухих, жарко румяных губ; но ничего не выходит, хоть я все еще ощущаю порой их уклончивое касание, словно чувства играют со мною в жмурки, в том всхлипывающем сне, где мы с ней неуклюже цепляемся друг за дружку посреди надрывающего сердце тумана, и я не различаю цвета ее глаз из-за пустого сияния слез, переполнивших их и утопивших райки.

Она была много моложе меня, – не как Натали дивных плеч и длинных серег в сравнении со смуглым Пушкиным, – но все-таки и у нас имелся зазор, достаточный для той обратной романтики, что находит отраду в подражании судьбе неповторимого гения (до ревности, до грязи, до острой боли, с которой видишь, как миндалевые глаза за павлиньими перьями веера обращаются к ее белокурому Кассио), – раз уж не получается подражать его стихам. Правда, мои ей нравились, вряд ли она разевалась бы, как делала та, другая, всякий раз что стихотворению мужа случалось превзойти длину сонет. И если она для меня осталась фантомом, то, верно, и я тем же был для нее: думаю, ее привлекли лишь потемки моей поэзии; а там она продрала в завесе дыру и увидела неприятное лицо чужака.

Как вам известно, уже в течение долгого времени я собирался последовать примеру вашего счастливого бегства. Она описала мне своего дядю, жившего, по ее словам, в Нью-Йорке: он преподавал в колледже на юге верховную езду и в конце концов женился на богатой американке; у них была дочка, глухорожденная. Она говорила, что давным-давно потеряла их адрес, но несколько дней погодя адрес чудесным образом нашелся, и мы написали драматическое письмо, на которое так и не дождались ответа. Да это было не так уж и важно, поскольку я тем временем получил солидный аффидевит от профессора Ломченко из Чикаго; однако, совсем еще немного успели мы сделать для обзаведения нужными бумагами, как началось вторжение, а между тем я предвидел, что если мы застрянем в Париже, то раньше ли, позже, но какой-нибудь участливый соотечественник укажет заинтересованной стороне несколько мест в одной моей книге, где я говорю, что Германия, при всех ее черных грехах, все же обречена навек остаться всесветным посмешищем.

Так начался наш злополучный медовый месяц. Сдавленные и сотрясаемые в гуще апокалиптического исхода, ожидающие поездов, которые безо всякого расписания шли неизвестно куда, бредущие сквозь затхлые декорации абстрактных городов, живущие в вечных сумерках физического изнурения, мы бежали; и чем дальше мы убегали, тем ясней становилось, что понукает нас нечто большее, чем дуралом в сапогах и пряжках, оснащенный набором по-разному приводимого в движение хлама – нечто иное, чего он был только символом, нечто чудовищное и неуяснимое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который и здесь, в зеленой пустоте Центрального Парка, еще наваливается на меня со спины.

О, она сносила все достаточно стойко, – со своего рода изумленным весельем. Впрочем, однажды, ни с того ни с сего она принялась вдруг рыдать посреди соболезнующего вагона.

– Собака, – говорила она, – мы бросили собаку. Я не могу забыть несчастной собаки.

Неподдельность ее горя поразила меня, потому что собаки у нас не было.

– Я знаю, – сказала она, – но я попыталась представить, что мы все же купили того сеттера. Только подумай, как бы он теперь скулил за запертой дверью.

И о покупке сеттера никогда разговоров никаких не велось.

И еще не хотелось бы мне позабыть кусок большой дороги и семью беженцев (две женщины, ребенок), у которой умер в пути старик отец или дед. На небе в беспорядке толпились черного и телесного цвета тучи, уродливый солнечный луч бил из-за шапки холма, а покойник лежал на спине под рыжим платаном. Женщины попытались руками и палкой вырыть при дороге могилу, но земля оказалась слишком тверда, они отступились и сидели бок о бок среди малокровных маков, чуть в стороне от трупа и его задранной вверх бороды. И только мальчик все скреб и скоблил, и дергал траву, пока не отвалил плоского камня и не замер на корточках, забыв о цели своих важных трудов; вытянув тонкую выразительную шею, подставлявшую все позвонки палачу, он с удивлением и упоением наблюдал тысячи мелких, бурых, бурлящих муравьев, метавшихся в стороны, разбегавшихся, мчавших к безопасным местам в Гар, в Од, в Дром, в Вар, в Восточные Пиренеи, – мы с ней ненадолго остановились лишь в По.

Попасть в Испанию оказалось трудно, и мы решили отправиться в Ниццу. В городке по имени Фожер (остановка десять минут) я вытиснулся из поезда, чтобы купить еды. Когда через пару минут я вернулся, поезд ушел, а сварливый старик, отвечающий за зияющую передо мной жестокую пустоту (жаркое сияние угольной пыли меж равнодушных голых рельс и одинокий кусок апельсиновой кожуры), грубо заявил, что я вообще не имел права тут выходить.

В лучшем мире я добился бы, чтобы мою жену отыскали и объяснили бы ей, как поступить (билеты и большая часть денег остались при мне), но в тех обстоятельствах моя бредовая борьба с телефоном оказалась бесплодной, и я оставил в покое стаю слабеньких голосков, облаивавших меня издали, послал две-три телеграммы, которые, вероятно, только сейчас и отправляются в путь, и поздно вечером поехал местным поездом в Монпелье, дальше которого вряд ли доплелся бы ее поезд. Там я ее не нашел, и пришлось выбирать между двух вариантов: продолжать намеченный путь, поскольку она могла сесть на марсельский поезд, к которому я едва-едва не поспел, или ехать назад, потому что она могла вернуться в Фожер. Не помню уже, какие путанные рассуждения привели меня в Марсель и в Ниццу.

Помимо таких рутинных действий, как препровождение ложных сведений в некое количество малообещающих мест, полиция ничем мне помочь не смогла; один полицейский наорал на меня за надоедливость, другой увернулся от дела, усомнясь в подлинности моего брачного свидетельства, поскольку печать на нем стояла с той стороны, какую он предпочел счесть для нее непригодной; третий, жирный «комиссар» с водянисто-карими глазками, признался, что он, когда не на службе, тоже пишет стихи. Я навещал различных моих знакомых из тех многочисленных русских, что обитали в Ницце или замешкались на ее берегах. Я слушал, как те из них, в чьих жилах оказалась еврейская кровь, рассказывают о своих обреченных сородичах, вбиваемых в поезда, идущие в ад; и пока я сидел в каком-нибудь битком набитом кафе, глядя на млечно-голубое море, а из-за моей спины доносился, как из пустой раковины, шелест, снова и снова повествующий о резне и разлуке, о сером рае за океаном, о повадках и прихотях суровых консулов в собственном моем положении проступало по контрасту нечто пошло жовиальное.

Через неделю после моего приезда сюда ленивый сыщик зашел за мной и отвел по кривой и смрадной улочке к дому в черных подтеках, с которого время и грязь почти уже стерли слово «отель»; здесь, сообщил он, отыскалась моя жена. Девушка, которую он предъявил, оказалась, конечно, совершенно мне неизвестной, однако мой друг Хольмс несколько времени пытался принудить ее и меня признаться, что мы женаты, а ее молчаливый и мускулистый постельный партнер стоял рядом и слушал, скрестив голые руки на полосатой груди.

Когда я, наконец, отвязался от этих людей и поплелся назад в свой квартал, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей у входа в продуктовую лавку; в самом ее

конце вытягивалась, приподымаясь на цыпочки, чтоб разглядеть, что же в точности продают, моя жена. Помнится, первые ее слова, обращенные ко мне, были о том, что она рассчитывала на апельсины.

Ее рассказ казался немного путанным, но вполне заурядным. Она вернулась в Фожер и вместо того, чтобы справиться на станции, где я для нее оставил записку, пошла прямо в Комиссариат. Компания беженцев предложила ей присоединиться к ним; ночь она провела в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, словно три бревна. На следующий день она сообщила, что ей не достанет денег добраться до Ниццы. В конце концов, она кое-что заняла у одной из бревенчатых женщин. Она, однако, ошиблась поездом и заехала в город, названия которого не запомнила. В Ницце она появилась два дня назад и встретила в русской церкви каких-то друзей. Те ей сказали, что я где-то поблизости, ищущий ее и вскорости наверное ей подвернусь.

Некоторое время спустя я сидел на краешке единственного в моей мансарде стула и придерживал ее за стройные юные бедра (она расчесывала мягкие волосы, откидывая голову при каждой отмашке), неожиданно смутная улыбка ее сменилась странным подергиваньем, она опустила руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, как будто я был отражением в пруду, впервые ею замеченным.

– Я наврала тебе, милый, – сказала она. – Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с одним скотом, мы познакомились в поезде. Мне вовсе этого не хотелось. Он торгует жидкостью для волос.

«Назначьте день и совершите казнь. За веером, перчатками и маской.» Эту ночь и много других я провел, вытягивая из нее кроху за крохой, но так всего и не вытянул. Странная навязчивая идея овладела мной: что сначала я должен выяснить каждую мелочь, восстановить все по минутам, а уж там решить, смогу ли я это вынести. Но граница желанного знания оказалась недостижимой, да я и не мог предсказать хоть примерно ту точку, за которой сочту себя насытившимся, потому что знаменатель любой дроби знания, разумеется, потенциально так же бесконечен, как и число интервалов между ее долями.

Ах, в первый раз она была слишком усталой, чтобы противиться, а потом не противилась, уверясь, что я ее бросил; она, видимо, полагала, что такие объяснения должны стать для меня своего рода утешительным призом, а не бессмыслицей и пыткой, чем они являлись на деле. Так продолжалось целую вечность; порой она теряла терпение, потом опять собиралась с силами, бездыханным шепотом отвечая на мои непотребные вопросы или пытаясь с жалкой улыбкой ускользнуть в полубезопасность не относящихся к делу толкований, а я давил и давил на безумелый коренной зуб, пока мои челюсти чуть не взрывались от боли, от жгучей боли, почему-то казавшейся мне предпочтительней тупой, гудливой муки смиренного долготерпения.

И заметьте, прерывая это дознание, мы пытались получить от артачливых властей некие документы, которые в свой черед дадут законные основания для подачи прошения о бумагах третьего рода, каковые могли послужить ступенькой к получению разрешения, дозволяющего его обладателю подать прошение о получении еще одних документов, которые, глядишь, и дадут, а может и не дадут ему средства открыть, как и почему это случилось. Ибо сумею я даже вообразить ту мерзкую возвратную сцену, я не смог бы связать ее острые гротескные тени со смутными членами моей жены, содрогающейся, хрипящей и тающей в моих яростных объятиях.

Так что ничего нам не оставалось, как только мучить друг друга, часами ожидать в Префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже знакомыми на ощупь с сокровеннейшими потрохами всевозможных виз, улаживать секретарей и вновь заполнять формуляры, и в итоге ее похотливый и многоликий разъездной торговец потонул в призрачной мешанине огрызающихся чиновников с крысиными усиками, истлевших кип полуистершихся записей, смрада фиолетовых чернил, взяток, засунутых под гангренозные пятна промокашек, жирных мух, щекотавших влажные шеи холодными подушечками проворных лапок, свежеснесенных, неуклюже вогнутых фотографий шести двойников-недочеловеков, трагических глаз и терпеливой учтивости просителей, родившихся в Слуцке, в Стародубе, в Бобруйске, воронок и блоков Святой Инквизиции, ужасной улыбки лысого мужчины в оч-

ках, которому объявили, что паспорт его никак не отыщут.

Признаюсь, как-то вечером, после особенно гнусного дня, я рухнул на каменную скамью, плача и проклиная издевательский мир, в котором липкие лапы консулов и комиссаров жонглируют миллионами жизней. Тут я заметил, что и она тоже плачет, и сказал ей, что все это в сущности было бы пустяком, когда бы она не сделала того, что сделала.

– Ты станешь думать, что я ненормальная, – сказала она с силой, которая на секунду почти превратила меня в реального для нее человека, – но я не сделала этого, клянусь тебе, не сделала. Может быть, я живу несколькими жизнями сразу. Может быть, я хотела тебя испытать. Может быть, эта скамейка – сон, а мы с тобою сейчас в Саратове или на какой-то звезде.

Было бы скучно возиться с различными стадиями, через которые я прошел прежде, чем окончательно принять первую версию ее задержки. Я не разговаривал с ней, был все больше один. Она мерцала и меркла, и вновь возникала с каким-нибудь пустяком, который, думалось ей, я, быть может, приму, – с пригоршней вишен, с тремя драгоценными сигаретами либо с чем-либо в этом же роде, – она обхаживала меня с ровной, немой мягкостью сиделки, что ходит за брюзгливо выздоравливающим пациентом. Я перестал навещать большую часть наших общих друзей, потому что они утратили всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось мне, стали вдруг неопределенно враждебными. Я написал несколько стихотворений. Я пил вино – столько, сколько удавалось добыть. В один из дней я прижал ее к моей стеной груди, и мы уехали в Кабуль на неделю и там лежали на круглой розовой гальке узкого пляжа. Странно сказать, чем счастливее казались наши новые отношения, тем сильнее я ощущал потаенный ток горькой печали, но говорил себе, что это – родовая черта всякой подлинной благодати.

Тем временем, что-то сместилось в подвижном узоре наших судеб и, наконец, я вышел из темной и жаркой канцелярии с двумя пухлыми *visas de sortie*<sup>7</sup>, лежавшими в чаше моих дрожащих ладоней. В должное время им впрыснули сыворотку США, и я понесся в Марсель и ухитрился добыть билеты на ближайшее судно. Я воротился и отгрохал по лестницам вверх. На столе я увидел розу в бокале – румяная сахаристость ее очевидной красоты, паразитические пузырьки воздуха, прилипшие к стеблю. Два запасных ее платья исчезли, исчез ее гребень, исчезло клетчатое пальто и муаровая головная лента с бантом, служившая ей шляпкой. Не было приколотой к подушке записки, не было во всей комнате ничего, что могло бы меня просветить, ибо, конечно, роза являлась попросту тем, что французские рифмоплеты зовут *une cheville*<sup>8</sup>.

Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не смогли мне сказать; к Геллманам, которые отказались сказать что-либо; и к Елагиным, которые колебались, говорить мне или не стоит. В конце концов, старуха, – а вы знаете, какова Анна Владимировна в решительные минуты, – потребовала, чтобы подали ее трость с резиновым наконечником, тяжело, но решительно вытащила свое крупное тело из любимого покойного кресла и отвела меня в сад. Здесь она сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать, что я хам и подлец.

Вообразите сцену: маленький, гравистый сад с одиноким кипарисом и синим кувшином из «Тысячи и одной ночи», треснувшая терраса, на которой дремал, укрывши пледом колени, отец старухи, когда оставил пост новгородского губернатора, чтобы провести в Ницце несколько последних своих вечеров; бледно-зеленое небо; запах ванили в густеющих сумерках; металлический свирест сверчков (две октавы выше среднего до); и Анна Владимировна – складки на щеках резко подрагивают, она осыпает меня материнскими, но совершенно мной не заслуженными оскорблениями.

В несколько последних недель, дорогой мой В., всякий раз что она в одиночку навещала три-четыре семейства, знакомых нам обоим, прозрачная моя жена по капле вливала в нетерпеливые уши этих добрых людей удивительную историю. Вкратце: что она безумно

---

<sup>7</sup> Выездная виза (фр.)

<sup>8</sup> Длиннота (фр.)

влюбилась в молодого француза, способного дать ей дом с башенками и знатное имя; что она молила меня о разводе, и я отказал; будто бы даже сказав, что скорее застрелю ее и сам застрелюсь, чем один отплыву в Нью-Йорк; что ее, – сказала она, – отец в подобном же случае повел себя джентльменом; что мне, – сказал я, – наплевать на ее *sous de père*<sup>9</sup>.

Нелепые подробности этого рода имелись в избытке, и все зацеплялись одна за другую столь замечательным образом, что нельзя дивиться требованию старой дамы дабы я поклялся не гоняться за любовниками со взведенным пистолетом в руке. Они уехали, сказала она, на виллу в Лозере. Я осведомился, попадался ли ей когда-нибудь на глаза этот мужчина. Нет, но ей показывали его фотографию. Я уж было ушел, когда Анна Владимировна, несколько поутихшая и даже протянувшая мне пять пальцев для поцелуя, вдруг вспыхнула снова, ударила тростью о гравий и произнесла глубоким и сильным голосом:

– Но одного я вам никогда не прощу – ее собаки, несчастного существа, которое вы удавили своими руками, прежде чем покинуть Париж.

Превратился ли господин с достатком в коммивояжера, или метаморфоза была обратной, или опять-таки был он ни тем ни другим, но неразборчивым русским, который приволакивался за ней перед нашей женитьбой, – все это решительно не имеет значения. Она ушла. Конец. Я оказался бы идиотом, предайся я сызнова бредовым поискам и ожиданиям.

На четвертое утро долгого и гнетущего морского вояжа я повстречал на палубе важного, но приятного старого доктора, с которым в Париже игрывал в шахматы. Он спросил, не слишком ли беспокоит бурное море мою жену. Я ответил, что плыву один, вследствие чего он приобрел вид ошарашенный и сообщил мне, что дня за два до отплытия и именно в Марселе видел ее бродившей по набережной – довольно бесцельно, как ему показалось. Она сказала, что я вот-вот подойду с багажом и билетами.

Вот тут, сдается мне, и содержится главная соль рассказа, – хотя, если вы возьметесь его писать, пусть лучше будет не доктор, – с этим персонажем уже изрядно переусердствовали. Именно в ту минуту я вдруг наверное осознал, что ее вообще не было, никогда. Скажу вам и еще кое-что. Приехав сюда, я поспешил удовлетворить отчасти болезненное любопытство: я отправился по адресу, некогда данному ею, и обнаружил безномерной пролет меж двух конторских домов; я поискал имя ее дяди в адресной книге, там его не оказалось; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает все, сообщил мне, что этот человек и его наездница-жена и вправду существовали, но переехали в Сан-Франциско после того, как умерла их глухая дочурка.

Рассматривая прошлое графически, я вижу наш искромсанный роман поглощенным глубокой долиной тумана, залегшей между скалистых отрогов двух образованных фактами гор; жизнь была реальной прежде, жизнь, надеюсь, будет реальной и отныне. Хоть и не завтра. Может быть, послезавтра. От вас, счастливого смертного, с вашей прелестной семьей (что Инесса? что ваши двойняшки?) и множеством разнообразных занятий (что ваши лишайники?), вряд ли следует ждать, что вы сумеете распутать мое несчастье в понятиях человеческого сообщества, но вы могли бы кое-что прояснить, пропустив его сквозь призму вашего искусства.

«Но ведь жалко!» Черт бы побрал ваше искусство, я отвратительно несчастен. Она еще бродит туда-сюда там, где бурые сети расстелены для просушки на горячих каменных плитах, и крапчатый свет воды переливается на борту рыбацкой зашвартованной лодки. Где-то, в чем-то я совершил роковую ошибку. Бледные крохи ломаной чешуи там и сям посверкивают в бурых ячейках. Если я не буду осторожен, все это может завершиться в «Алеппо». Поберегите меня, В.: вы отягчите вашу игральную кость свинцом непереносимого смысла, если возьмете это слово в заглавие.

*Бостон, 1943*

### 3. ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

#### 1

<sup>9</sup> Полоумный папаша (*фр.*)

В 1899 году в грузном, уютно ватном Петербурге видная культурная организация – «Общество поощрения русской словесности» – решила торжественно почтить память поэта Константина Перова, скончавшегося за полстолетия до того в пылком возрасте двадцати четырех лет. Перова называли русским Рембо, и хоть французский юноша превосходил его одаренностью, уподобление не было вовсе несправедливо. Всего восемнадцати лет он написал свои замечательные «Грузинские ночи» – длинную, бессвязную «эпическую грезу», некоторые пассажи которой как бы прорывают завесу своего традиционно восточного убранства, создавая небесный сквозняк, от которого прямо между лопаток читателя вдруг возникает ощущение истинной поэзии.

Следом, три года спустя, вышел томик стихов: Перов увлекся кем-то из немецких философов, и несколько пьес этого тома производят печальное впечатление из-за нелепых попыток сочетать неподдельный лирический спазм с метафизическим объяснением мира; но остальные еще и сейчас живы и необычайны как в те дни, когда этот странный юноша шерстил русский словарь и сворачивал привычным эпитетам шеи, заставляя поэзию вопить и захлебываться, а не чирикать. Большинству читателей более по душе те из его стихов, в которых восхитительный вихрь невразумительного красноречия, о коем один критик сказал, что оно «не указывает врага, но наполняет нас жаждою битвы», выражает идеи равенства, столь характерные для России пятидесятых годов. Я же предпочитаю более чистую и одновременно ритмически более сложную его лирику, – скажем, «Цыгана» или «Нетопыря».

Перов был сыном мелкого землевладельца, о котором известно лишь, что он покушался в своем именье под Лугой выращивать чай. Большую часть времени, проведенного юным Константином в Петербурге (прибегнем к интонации биографических писаний), он потратил на неопределенное хождение в университет, а затем на неопределенные же поиски чиновничьего места; в сущности, о его занятиях известно немного, – помимо тех пустяков, которые можно дедуктивным путем вывести из общих склонностей его круга. Одно место в письме прославленного поэта Некрасова, как-то столкнувшегося с ним в книжной лавке, рисует нам образ угрюмого, неуравновешенного, «неуклюжего и пылкого» юноши с «детским взором и плечами возчика мебели».

Он упоминается также в полицейском донесении как «вполголоса совещающийся с двумя другими студентами» в кофейне на Невском. А его сестра, вышедшая замуж за рижского купца, как говорят, сожалела о бурных романах поэта с прачками и белошвейками. Осенью 1849 года он навестил отца, намереваясь просить денег на поездку в Испанию. Отец, отличавшийся простотою душевных движений, дал ему лишь пощечину; несколько дней спустя, бедный юноша утонул, купаясь по соседству в реке. Его платье и полуобгрызанное яблоко нашли под березой, тела же отыскать не сумели.

Слава ему выпала вялая: отрывок из «Грузинских ночей» – вечно один и тот же во всех антологиях; неистовая статья радикального критика Добролюбова (1859), восхваляющая революционные околичности самых слабых его стихов; сложившееся в восьмидесятых общее представление, что реакционная среда чинила препоны чистому, пусть и бессвязному отчасти таланту, а там и вовсе его заела, – вот, пожалуй, и все.

В девяностых годах, вследствие оздоровления поэтических интересов, совпавшего, что порою случается, с эрой суровой и скучной политики, вокруг поэзии Перова затеялась суэта повторного узнавания, – а со своей стороны, и либеральные деятели были не прочь подхватить добролюбовские обиняки. Весьма успешно прошла подписка на возведение памятника Перову в одном из публичных парков. Крупный издатель, соединив все доступные крохи сведений о жизни Перова, выпустил полное собрание его сочинений в одном приятно увесистом томе. Ежемесячники напечатали несколько ученых статей. Памятный вечер в одном из лучших залов столицы собрал большую толпу.

За несколько минут до начала, когда ораторы еще сходились в расположенную за сценой комнату юбилейного комитета, дверь распахнулась, впустив кряжистого старика в сюр-

туке, который – на его или на чьих-то еще плечах – видывал лучшие времена. Нисколько не внимая упредительным крикам двух студентов с лентами на рукавах, облеченных властью служителей и пытавшихся его задержать, он с замечательно достойным видом приблизился к столу устроителей, поклонился и произнес:

– Я – Перов.

Мой друг, почти вдвое старший меня и оставшийся ныне единственным живым свидетелем тех событий, рассказывал мне, что председатель (редактор газеты, обладавший немалым опытом обращения с чудачливыми приставалями), не подняв глаз, сказал: «Гоните его в шею». Никто этого делать не стал, – возможно, оттого, что каждый склонен к определенной учтивости при обращении со старым и предположительно очень пьяным господином. Старик присел к столу и, выбрав самого тихого на вид человека – Славского, переводчика Лонгфелло, Гейне и Сюлли-Прюдома (а впоследствии члена террористической группы), – деловито осведомился, собраны ли уже «деньги на памятник», и если собраны, когда ему можно их получить?

Все свидетельства сходятся в том, что свои притязания старик излагал удивительно мирно. Он не напирал. Он просто заявлял их, как бы вовсе не сознавая возможности того, что ему могут не поверить. Поразительно и все же, сидя в той уединенной комнатке, окруженный личностями, столь значительными, еще только в самом начале всей этой странной истории, он, со своей патриархальной бородой, выпцветшими глазками и носом картошкой, умиротворенно расспрашивал о доходах предприятия, не давая себе решительно никакого труда привести хотя бы такие доказательства, какие с легкостью мог подделать заурядный самозванец.

– Вы что же, родственник? – спросил кто-то.

– Я – Константин Константинович Перов, – терпеливо сказал старик. – Мне, впрочем, дали понять, что в зале присутствует младший член нашей семьи, да что-то нигде его не видно.

– А лет вам сколько же будет? – спросил Славский.

– Мне семьдесят четыре года, – ответил старик, – я пострадал от нескольких недородов кряду.

– Вам, разумеется, известно, – заметил актер Ермаков, – что поэт, чью память мы чтим сегодня, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет назад.

– Вздор, – резко ответил старик. – Я разыграл эту комедию, имея на то свои причины.

– А теперь, сударь мой, – сказал председатель, – вам и вправду лучше уйти.

Они и думать о нем забыли, едва только выпорхнув на резко освещенную сцену, где еще один стол, длинный, покрытый торжественной красной тканью, с нужным числом кресел за ним, давно уж завораживал публику блеском традиционного графина. По левую сторону от стола красовался писанный маслом портрет, ссуженный Шереметевской галереей: он изображал двадцатидвухлетнего Перова – смуглого, романтически растрепанного молодого человека в рубашке с открытым воротом. Подпорку благочестиво укрывали цветы и листья. На авансцене высилась кафедра, также с графином, за кулисами ожидал выезд перед началом музыкальной программы концертный рояль.

Зал заполняли литераторы, просвещенные адвокаты, гимназические учителя, ученые-словесники, восторженные студенты обоих полов и тому подобный люд. Имелось тут и несколько полицейских осведомителей, рассаженных по укромным углам, – правительство на опыте знало, что самые степенные культурные сборища обладают странным обыкновением внезапно оборачиваться оргией революционной пропаганды. То обстоятельство, что одно из первых стихотворений Перова содержало завуалированный, но одобрителный намек на возмущение 1825 года, требовало принятия определенных предосторожностей, ибо неизвестно, что могло приключиться после публичного произнесения таких, к примеру, строк: «сибирских пихт угрюмый шорох с подземной сносится рудой».

Как сказано в одном из газетных отчетов: «вскоре почудилось, что смутное подобие скандала на манер Достоевского (подразумевается известная балаганная сцена в „Бесах“) нагнетает в зале обстановку неловкости и тревоги». Дело в том, что старик неспешно последовал на сцену за семью членами юбилейного комитета и попытался усесться вместе с ними за стол. Председатель, главная забота коего состояла в том, чтобы избежать публичной

потасовки, приложил все усилия, дабы заставить старика отступить. Состроив на показ залу любезную улыбку, он прошептал патриарху, что вышвырнет его вон, ежели тот не отпустит спинку кресла, которую Славский – с безмятежным видом, но проявляя железную хватку, – тишком выворачивал из шишковатой старческой лапы. Старик не сдался, однако потерпел поражение и остался без места. Тогда он огляделся, заметил за кулисой рояльный табурет и преспокойно выволок его на сцену за долю секунды до того, как руки скрытого от публики служителя попытались вырвать табурет и вернуть обратно. Старик уселся несколько вбок от стола и немедленно стал экспонатом номер один.

Тут члены комитета совершили роковую ошибку, снова забыв о нем; они, это следует повторить, более всего были обеспокоены тем, чтобы избежать неприятной сцены; к тому же несносного компаньона наполовину скрывала от их глаз стоявшая близ портрета голубая гортензия. К несчастью, публика видела старика более чем отчетливо: видела, как он усаживался на свой невзрачный пьедестал (постоянным поскрипываньем намекавший на способность вращаться), как открывал очешник и по-рыбьи дышал на очки, – совершенно спокойный, невозмутимый, – видела маститую голову, поношенный черный сюртук и штиблеты с резинками, одновременно приводящие на ум и нуждающегося русского профессора, и преуспевающего русского гробовщика.

Председатель, вставши за кафедру, начал вступительную речь. Шепот зыбью прошел по залу, – всем, натурально, хотелось узнать, кто этот достойный старик. Утвердив на носу очки, и упершись в колена ладонями, он несколько времени вглядывался, оборотясь, в портрет, затем отвернулся от него и обозрел первый ряд. Ответные взоры не могли не сновать между лоснистой его лысиной и кудрявой главой на портрете, ибо за время долгой председательской речи подробности вторжения распространились по залу, и чье-то воображение уже принялось тешиться мыслью, что поэт почти легендарной поры, уютно приписанный к ней учебниками, анахроническое существо, живое ископаемое в сетях невежественного рыбака, Рип-ван-Винкль в некотором роде, впав в тусклое старческое слабоумие, и впрямь забрел на вечер, посвященный его юной славе.

–...так пусть же имя Перова, – завершая речь, говорил председатель, – никогда не забудется мыслящей Россией. Тютчев сказал, что наша страна вечно будет помнить Пушкина, как первую свою любовь. Относительно Перова мы можем сказать, что он был первым опытом русской вольности. На поверхностный взгляд эта вольность сводится к поразительной щедрости поэтических образов Перова, взывающей более к художнику, нежели к гражданину. Но мы, представители более трезвого поколения, склонны раскрывать для себя более глубокий, более жизненный, более гуманный и общественный смысл таких его строк, как:

Когда в тени кладбищенской стены  
укрыт последний снег, и вороная  
соседская кобылка отдает  
мгновенной синевой в мгновенном блеске  
апрельского слепительного дня,  
и в негритянских пригоршнях Земли  
лучатся лужи сколками небес, –  
душа бредет в разодранном плаще  
к слепым, бездольным, темным, к тем, кто гнет  
вседневно спины в кабале у толстых,  
чьи очи от забот и вождедений  
поблекли и уже не зрят проталин,  
ни синей лошади, ни чудотворной лужи.

Взрыв рукоплесканий приветствовал эти строки, но внезапно хлопки прервались, сменные всхлипами неуместного смеха; ибо, пока председатель, в котором еще вибрировали только что произнесенные слова, возвращался к столу, бородатый незнакомец встал и поблагодарил аплодирующих, резко кивая и нескладно маша руками, вид его выражал смесь вежливой признательности с некоторым раздражением. Славский и двое служителей произ-

вели отчаянную попытку спровадить его, но в глубине зала поднялся крик: «Позор, позор!» и «А-ставь-те-ста-ри-ка!».

В одном из отчетов мне попало предположение, что среди публики имелись у старца сообщники, я, впрочем, думаю, что такой поворот в достаточной мере объясняется состраданием толпы, возникающим с тою же внезапностью, что и ее озлобление. «Старик», при том, что ему пришлось бороться сразу с тремя, ухитрился сохранить замечательное достоинство повадки, и когда те, кто без особого рвения напал на него, отступились, и он поднял опрокинутый в схватке табурет, по залу прошел довольный шумок. Вот только атмосфера вечера была испорчена безвозвратно. Самые молодые и разухабистые из публики уже буйно веселились. Председатель, подрагивая ноздрями, налил себе стакан воды. Двое осветителей украдкой переглянулись из двух углов зала.

### 3

За речью председателя последовал отчет казначея касательно сумм, полученных от многочисленных учреждений и лиц на возведение памятника Перову в одном из пригородных парков. Старик неспешно извлек из кармана клочок бумаги и огрызок карандаша, приладил листок на колени и принялся записывать называемые цифры. Затем на сцене на миг появилась внучка перовской сестры. С этим номером программы устроителям пришлось изрядно повозиться, поскольку особу, о которой идет речь, – толстую, с выпученными глазами, восковобелую молодую даму – лечили от меланхолии в приюте для душевнобольных. Всю в трогательно розовом, с перекошенным ртом, ее на мгновение показали публике и тут же быстро увлекли назад – в крепкие руки предоставленной заведением полногрудой женщины.

Между тем Ермаков в ту пору баловень театралов, что-то вроде души-тенора драматической сцены начал шоколадным голосом читать монолог Князя из «Грузинских ночей», и тут стало ясно, что даже самых рьяных его поклонников больше интересует реакция старика, чем красоты исполнения. При строках:

Когда металл бессмертен, где-то есть  
на свете пуговка, – я обронил ее  
в саду, гуляя на седьмом году.  
Найди ее, пусть сведает душа,  
что ждет ее, как всякую иную,  
спасение и благостный приют.

в выдержке старика наметилась первая трещинка и, медленно развернув пространный платок, он смачно высморкался, – со звуком, от которого густо затененные, алмазным блеском горящие глаза Ермакова закосили, точно у оробелого боевого коня.

Платок вернулся в складки сюртука и лишь через несколько секунд после того в первом ряду заметили, что из-под очков старика льются слезы. Он не пытался их утереть, хоть несколько раз рука его с растопыренными, словно клешня, пальцами поднималась к очкам, и падала снова, как если бы он опасался (совершеннейшая из деталей всего утонченного шедевра), что всякий подобный жест привлечет внимание к слезам. Громовые овации, следовавшие за чтением, определенно в большей мере относились к исполнительскому мастерству старика, чем к стихам в передаче Ермакова. И едва они смолкли, старец поднялся и вышел на край сцены.

Комитет не пытался остановить его – по двум причинам. Во-первых, председатель, доведенный до отчаяния возмутительным поведением старика, ненадолго отлучился, чтобы отдать некоторые распоряжения. Во-вторых, кое-кого из устроителей понемногу одолевала смесь странных сомнений, так что, когда старик оперся на кафедру, на зал пала полная тишина.

– И вот слава, – сказал он голосом столь сиплым, что из дальних рядов закричали: «Громче, громче!».

– Я говорю, вот она – слава, – повторил он, хмуро оглядывая публику сквозь очки. – Два десятка бездумных виршей, слова, годные только скакать и звякать, и тебя помнят, будто ты пользу какую принес человечеству! Нет, господа, не обольщайтесь. Наша держава и трон царя-батюшки еще стоят, в неуязвимой их мощи, аки застывший перун, а заблуждавшийся юноша, полвека назад маравший бунтарские стишки, ныне стал законопослушным стариком, уважаемым порядочными согражданами. Стариком, позвольте добавить, нуждающимся в вашей поддержке. Я жертва стихий: земля, которую я вспахал в поте лица своего, агнцы, вспоенные мною, нивы, что помавали мне золотистыми дланями...

Именно тут чета здоровенных полицейских быстро и безболезненно устранила старика. Публика только ахнула, а уж его понесли: манишка на сторону, борода на другую, манжета висит на запястье, но в глазах – все та же добродетельная серьезность.

Ведущие газеты, сообщая о торжествах, лишь мельком упомянули об омрачившем их «прискорбном происшествии». Однако, скандально известная «Санкт-Петербургская Летопись» – сенсационно-реакционный листок, издаваемый братьями Херстовыми на потребу нижесреднего класса и блаженно-полуграмотной подслыжки рабочего люда, разразилась чередой статей, твердивших, будто упомянутое «прискорбное происшествие» было ничем иным, как вторым пришествием подлинного Перова.

#### 4

Тем временем, старика подобрал очень богатый, вульгарно чудивший купец Громов, дом которого заполняли бродячие монахи, прощелыги-целители и «погромистики». «Летопись» брала у самозванца одно интервью за другим. Чего только не говорил он в них о «лакеях революционной партии», мошеннически отрицающих подлинность его и прикарманивших его деньги. Он намеревался по суду требовать эти деньги с издателя полного собрания сочинений Перова. Спившийся словесник, громовский приживал, указывал на сходство (к несчастью, довольно разительное) между обликом старца и чертами лица на портрете.

На тех же страницах появился подробный, но совершенно неправдоподобный рассказ о том, как он инсценировал самоубийство, чтобы зажить праведным христианином в самом сердце Святой Руси. Кем он только ни был: коробейником, птицеловом, перевозчиком на Волге, пока не приобрел, наконец, клочка земли в отдаленной губернии. Я видел экземпляр убогой книжонки «Смерть и воскрешение Константина Перова», одно время ее вместе с «Мемуарами Амазонки» и «Похождениями маркиза де Сада» продавали на улицах трясучие попрошайки.

И все же лучшее, что я сыскал, роясь в старых подшивках, это расплывчатый снимок бородатого самозванца, взгромоздившегося на мраморный пьедестал недостроенного памятника Перову посреди облетевшего парка. Он стоит навытяжку, сложив на груди руки, на нем круглая меховая шапка и новые калоши, но никакого пальто; у ног его расположилась кучка приверженцев, их мелкие белые лица смотрят в камеру с особенным лупоглазым и самоуверенным выражением, какое встречаешь порой на старых снимках линчевателей.

В подобной обстановке напыщенного хулиганства и реакционного самодовольства (столь неразлучной с выражением официальных воззрений в России, как бы ни звался ее царь – Александр, Николай или Иосиф) интеллигенция едва ли смогла бы снести ужас отождествления чистого, пылкого, революционно настроенного Перова, каким он предстает в его стихах, с пошлым стариком, блаженно барахтающимся в живописном свинарнике. Трагическая сторона положения состояла в том, что если Громов и братья Херстовы на самом-то деле не очень и верили, будто предмет их увеселений – это подлинный Перов, немало честных, развитых людей томилось невыносимой мыслью, что ими отвергнута Истина и Правота.

Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленко: «Содрогаешься при мысли, что небывалым в истории подарком судьбы, Лазаревым воскрешением великого поэта, могут неблагоприятно пренебречь, – нет, хуже того, счесть его дьявольской уловкой человека, чьим единственным прегрешением было полувековое молчание да несколько

минут необдуманных речей». Изложено путано, но суть ясна: образованная Россия боялась не столько стать жертвой надувательства, сколько совершить ужасный промах. Существовало, впрочем, нечто такое, чего она боялась и того пуще, а именно – крушения идеала; ведь наш российский радикал готов сокрушить что угодно, но только не какую-нибудь пустяковую побрякушку, которую радикализм лелеет невесть по каким причинам.

Поговаривали, что на некоем тайном собрании «Общества поощрения русской словесности» эксперты тщательно сличили множество оскорбительных посланий, которыми старик, проявляя завидное постоянство, продолжал осыпать своих врагов, со старым письмом, написанным поэтом в ранней юности. Найденное в одном частном архиве, оно почиталось единственным образчиком руки Перова, и никто, кроме ученых, вглядывавшихся в его выцветшие строки, не ведал о его существовании. Как, впрочем, не ведаем и мы, к чему клонились их выводы.

Поговаривали еще, что удалось собрать порядочную сумму, и что к старику обратились в обход его безобразных приятелей. По всей видимости, ему предложили достойное ежемесячное пособие на тех условиях, что он вернется к своему хозяйству и останется там в чинном молчании и безвестности. По всей также видимости, предложение было принято, ибо старик исчез с тою же внезапностью, с какою объявился, Громов же утешился, заменив утраченного любимца неким сомнительного толка гипнотизером французской выделки, год-другой спустя снискавшим кое-какой успех при Дворе.

Памятник, торжественно открытый своим порядком, стал любимым пристанищем местных голубей. Спрос на собрание сочинений к четвертому изданию благородным образом выдохся. Наконец, несколько лет спустя, самый старый, но отнюдь не самый толковый житель тех мест, где родился Перов, передал некоторой журнальной даме врезавшийся ему в память рассказ отца о найденном в речных камышах скелете.

## 5

Тем бы все и закончилось, если бы не пришла революция, выворачивая тучные пласты земли, а с ними беловатые проростки травы и жирных сизых червей, которых в ином случае так бы никто и не увидел. Когда в начале двадцатых в темном, голодном, но болезненно оживленном городе стали плодиться всякие странноватые культурные учреждения (вроде книжных лавок, где знаменитые, но сильно бедствующие писатели продавали собственные книги, и проч.), кто-то сумел заработать двухмесячный паек, основав музейчик Перова, что привело к новому воскрешению.

Экспонаты? Да, собственно говоря, все те же, не считая еще одного (письма). Подержанное прошлое в потрепанном зальце. Овальные глаза и каштановые кудри бесценного шереметьевского портрета (растрескавшегося по открытому вороту, что наводило на мысль о тайной попытке усечения главы); считавшийся собственностью Некрасова растрепанный томик «Грузинских ночей»; посредственная фотография сельской школы, построенной на месте дома и сада отца поэта. Забытая кем-то из посетителей поношенная перчатка. Несколько изданий Перова, расставленных так, чтобы занять побольше места.

И поскольку все эти скудные реликвии ни в какую не желали образовать счастливую семью, к ним добавили кое-какие предметы, связанные с эпохой, – вроде халата, в котором знаменитый радикальный критик расхаживал по своему обставленному в стиле рококо кабинету, и цепей, в которых он же сидел в своем бревенчатом сибирском остроге. И поскольку, повторимся, ни эти предметы, ни портреты писателей той поры не создавали потребного изобилия, посредине убогой комнаты установили модель первого русского поезда (сороковые годы, Санкт-Петербург – Царское Село).

Старик, шагнувший уже далеко за девяносто, но сохранивший внятность речи и прямизну осанки, водил посетителей с таким видом, будто был в музее не сторожем, а хозяином. Создавалось удивительное впечатление, что вот сейчас он проведет вас в другую (несуществующую) комнату, где уже накрыт для ужина стол. Тем не менее, все его достояние образовывали крившаяся за ширмами печка да лавка, на которой он спал; впрочем, если кто-то покупал одну из книг, выставленных на продажу при входе, он надписывал ее, словно

это разумелось само собой.

Потом, одним утром, женщина, носившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. Какое-то время в музее проживали три скандальных семейства, и вскоре от его содержимого не осталось и следа. словно некая лапища с треском выдрала кипу страниц из множества книг, или игривый сочинитель запечатал бесенка фантазии в сосуд истины, или...

Ну, не важно. Так или иначе, в следующие двадцать или того около лет Россия Перова совершенно забыла. Молодые советские граждане знают о его сочинениях не больше, чем о моих. Безусловно, настанет время, когда его опять издадут и снова полюбят; все же никак не отделаешься от мысли, что при теперешнем положении дел люди многое теряют. Гадаешь еще и о том, во что превратят будущие историки старика, и что они выведут из его поразительных притязаний. Но это, разумеется, дело десятое.

*Бостон, 1944*

## 4. ПРЕВРАТНОСТИ ВРЕМЕН

### 1

В первые цветоносные дни выздоровления от тяжелой болезни, на которое никто и менее всех сам обладатель девятидесятилетнего организма уже не надеялся, мои милые друзья, Норман и Нюра Стоун, убедили меня продлить перерыв в научных штудиях и отвлечься каким-то невинным занятием вроде игры в «брэзл» или пасьянса.

Первое исключается полностью, так как выслеживать название азиатского города или заглавие испанского романа в беспорядочном лабиринте слогов с последней страницы вечерней книги новостей (удовольствие, которому самая младшая из моих праправнучек предается с чрезвычайной охотой) – дело, на мой взгляд, гораздо более трудное, чем забавы с животными тканями. С другой стороны, пасьянс заслуживает рассмотрения, особенно при неравнодушии к его духовному двойнику, ибо не является ли игрой того же разряда упорядочивание воспоминаний, когда, на досуге вникая в прошлое, как бы сдаешь сам себе происшествия и переживания?

Говорят, Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы писать романы, и слишком дурная память, чтобы писать правду. В этих сумерках самовыражения приходится плавать и мне. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что ближнее во времени тонет в томном тумане, но в конце туннеля – свет и цвет. Я в состоянии различить очертания каждого месяца 1944 или 1945 года, но даже времена года напрочь смазываются, стоит мне вытащить из колоды 1997 или 2012. Я не могу припомнить имени выдающегося ученого, раскритиковавшего мою последнюю статью, я не помню даже, какими именами называли его мои равно выдающиеся защитники. Я не способен с ходу сказать, в каком году Секция Эмбриологии «Союза друзей природы в Рейкьявике» избрала меня в члены-корреспонденты, или когда именно Американская Академия Наук удостоила меня первойшей из своих наград. (Помню, впрочем, острое наслаждение, доставленное мне обеими почестями.) Так человек, глядя в колоссальный телескоп, не видит перистых облачков бабьего лета над своим зачарованным садом, но видит, как дважды видел мой незабвенный коллега, покойный профессор Александр Иванченко, роение геспероза во влажных пропастях Венеры.

Вполне вероятно, что «несметные туманные картины», завещанные нам тусклой, плоской и странно меланхоличной фотографией прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, производимое этим веком на тех, кто его не помнит; но верно и то, что существа, населявшие мир во дни моего детства, кажутся нынешнему поколению более удаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они еще вязли по пояс в ханжестве и предрассудках. Они цеплялись за традиции, как лоза за сохлое дерево. Они ели за большими столами, оцепенело сидя вокруг на жестких деревянных сиденьях. Наряды их состояли из многих частей, да сверх того каждая из оных хранила ссохшиеся и бесполезные останки той или этой моды постарше (одевающемуся поутру горожанину приходилось про-

тискивать тридцать, примерно, пуговиц во столько же петель и еще завязывать три узла, и проверять содержимое пятнадцати карманов).

В письмах они обращались к совершенно чужим для них людям с фразой, равнозначной – насколько слова вообще обладают значением – выражению «любимый хозяин», предваряя свою теоретически бессмертную подпись проборматыванием слов дурацкой преданности особе, самое существование которой являлось для пишущего вполне безразличным. Они обладали атавистической склонностью наделять общество качествами и правами, в которых отказывалось отдельной личности. Экономика владела их умами едва ли не в той же мере, в какой богословие – умами их предков. Они были поверхностны, беспечны и близоруки. В большей степени, нежели прочие поколения, они пренебрегали выдающимися людьми, предоставив нам честь открытия их классиков (так, Ричард Синатра оставался при жизни неизвестным «лесным объездчиком», грезившим под теллуридской сосной или читавшим свои проникновенные вирши белкам в лесу Сан-Исабел, – зато все знали другого Синатру, пустякового писателя, родом также с Востока).

Простейшие аллобиотические явления приводили их так называемых спиритуалистов к глупейшим трансцендентальным домыслам, заставляя так называемый здравый смысл пожимать широкими плечами в равно глупом невежестве. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Самыми разными способами забавляясь с электричеством, они и малого понятия не имели о том, чем оно, в сущности, является, – не диво, что случайное открытие истинной его природы так страшно их поразило (я в то время был уже взрослым человеком и хорошо запомнил, как горько плакал профессор Эндрю – в кампусе, посреди оглушенной толпы).

Но мир моих юных дней, при всех смехотворных обычаях и сложностях, в которых он погрязал, оставался мирком отважным и крепким, с невозмутимым юмором встречавшим напасти и бестрепетно выходившим на поля далеких сражений, чтобы покончить со свирепой пошлостью Гитлера и Алампилло. И если бы я дал себе волю, немало яркого, доброго, утешительного и прекрасного нашла бы в прошлом беспристрастная память, – и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, что способен сделать ему пока еще крепкий старик, если он засучит рукава. Но довольно об этом. История – не моя сфера и, возможно, лучше будет, если я обращусь к тому, что мне ближе, дабы не услышать, как услышал господин Саскачеванов от обаятельнейшего из персонажей одного теперешнего романа (подтверждено моей праправнучкой, которая читает больше моего), что мол «всяк сверчок знай свой свисток» (и не суйся в области, по праву принадлежащие другим кузнецам и цикадам).

## 2

Я родился в Париже. Мать умерла, когда я еще был младенцем, так что я в силах припомнить ее лишь как расплывчатое пятно упоительного слезного тепла, лежащее за самой границей иконографической памяти. Отец преподавал музыку и сам был композитором (я и теперь храню программку, в которой имя его стоит подле имени русского гения); он еще успел увидеть меня выпускником университета, а там умер от непонятной болезни крови во время Южно-Американской Войны.

Мне шел седьмой год, когда он, я и лучшая из бабушек, какую небеса когда-либо посылали ребенку, покинули Европу, где выродившаяся нация неопишимо мучила расу, к которой я принадлежу. В Португалии какая-то женщина дала мне самый большой из виданных мной апельсинов. Две кормовые пушечки нашего лайнера прикрывали его зловеще извилистый кильватерный след. Труппа дельфинов исполняла самозабвенные сальто. Бабушка читала мне сказку про русалку, залучившую пару ножек. Любознательный бриз участвовал в чтении и теребил и трепал страницы, желая узнать, что было дальше. Вот почти все, что я помню о путешествии.

Странники в пространстве, прибывая в Нью-Йорк, обыкновенно дивились «небоскреbam», как подивятся им, старомодным, странники во времени; прозвание это ошибочно, поскольку их близость с небом, особенно на эфирном исходе душного дня, ничем не напоминает сколько-нибудь раздражающего касания, будучи неопишимо нежной и ясной: моим

детским глазам, глядевшим через огромный простор парка, что украшал тогда центр города, они представлялись далекими, сиреневатыми и до странности водянистыми, мешающими первые застенчивые огни с красками заката и в сновидной искренности открывающими пульсирующее нутро своей кружевной структуры.

Негритянские дети чинно сидели на искусственных скалах. На стволах деревьев красовались их латинские имена, – точно так же водители приземистых, расфранченных, жуковатых автокебов (генетически родственных в моем сознании столь же расфуфыренным автоматам, музыкальный запор которых чудодейственно прослабляла мелкая монета) прикрепляли на задние стекла свои потрепанные фотографии, ибо мы жили в эру Идентификации и Классификации, воспринимая людей и предметы через их имена и названия и не веруя в существование чего бы то ни было безымянного.

В недавней и еще популярной пьесе, посвященной причудливой Америке Летучих Сороковых, немалый романтический шарм сообщен роли торговца содовой, впрочем, его бакенбарды и накрахмаленная манишка нелепо анахроничны, не было в мое время и столь непрерывного, бурного вращения высоких грибообразных стульев, коим тешатся исполнители. Мы упивались нашими скромными смесями (через соломинки, бывшие в действительности много короче тех, что на сцене) в обстановке угрюмой алчности. Я помню пустое очарование и мелкую поэтичность процесса: обильную пену над притонувшим комком синтетических замороженных сливок или жидкую бурю слякоть «сливочной» помадки, облившей его полярную лысинку. Лоск бронзы и плоскость стекла, стерильные отражения электрических ламп, шелест и блеск засаженного в клетку пропеллера, плакат Мировой Войны – усталые синие рузвельтовы глаза дядюшки Сэма или облаченная в щеголеватую форму девушка с преувеличенной нижней губой (о, этот напученный ротик, угрюмый целуйный капкан, позабытый покроем женского обаяния, 1939-50), – и незабываемая тональность долетающих с улицы звуков движения, их узоры и мелодические фигуры, за сознательный анализ которых отвечает одно только время, как-то связавшее «аптеку» с миром, в котором люди терзали металл, и металл не оставался в долгу.

Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; потом опять переехали. У меня осталось впечатление, что мы то и дело меняли жилища, и одни дома оказывались скучнее других, но как бы ни был мал городок, в нем всегда находилось место, где латали велосипедные шины, и место, где торговали мороженым, и место, где показывали кино.

Казалось, эхо крадут из гортани гор и подвергают особенной обработке с помощью меда и ластика, пока сгущенный говор его не удастся синхронизировать с движением губ в чередѣ фотографий на лунно-белом экране, в бархатно-темном зале. Мужской кулак отправлял ближнего сокрушать пирамиды корзин. Девушка с невиданно гладкой кожей приподымала нитевидную бровь. Дверь захлопывалась с неуместно тяжелым стуком, вроде тех, что долетают к нам с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.

### 3

Я также достаточно стар, чтобы помнить пассажирские поезда; малым ребенком я молился на них, подростком – обратился к исправленным изданиям скорости. Они, с их неуследимыми окнами и тусклыми фонарями, еще порой прогромыхивают сквозь мои сны. Их окраску можно было бы объяснить созревaniem расстояния, смешением оттенков поработанных ими миль, но нет, сливовый цвет их тускнел от угольной пыли, приобретая окрас, свойственный стенам мастерских и барачков, предпосылаемых городу с тою же неизбежностью, с какой грамматические правила и чернильные кляксы предшествуют усвоению положенных знаний. В конце вагона хранились бумажные колпачки для нерадивых гномов, вяло наполнявшиеся (передавая пальцам сквозистую стужу) пещерной влагой послушного фонтанчика, поднимавшего голову, стоило к нему прикоснуться.

Старики, похожие на дряхлых паромщиков из совсем уже древних сказок, нараспев повторяли свои «след-шас-танцы» и проверяли билеты у путников, среди которых, если поездка была достаточно долгой, обязательно обреталось множество рахристанных, смертельно усталых солдат и один бойкий, пьяненький, страсть какой непоседливый, которого лишь

его бледность соединяла со смертью. Он всегда был один, но он был всегда, – уродец, юнец, ненадолго сотворенный из праха в середине того, что некоторые пособия по новейшей истории благозвучно именуют «периодом Гамильтона» – ибо так звали равнодушного ученого, разложившего этот период по полочкам для удобства безголовых.

По какой-то причине мой блестящий, но непрактичный отец никак не мог приладиться к ученой среде настолько, чтобы надолго осесть в одном каком-нибудь месте. Я способен зримо представить себе любое из них, но один университетский городок остается в памяти особенно ярким: называть его не нужно, довольно сказать, что через три лужайки от нас, на густолиственной улочке, стоял дом, обратившийся ныне в Мекку нации. Я помню sprays-нутые солнцем садовые стулья под яблоней, сеттера цвета яркой меди и веснушчатого толстого мальчика с книжкой на коленях, и подходящее с виду яблоко, выбранное мною в тени забора.

И я сомневаюсь, смогут ли туристы, навещающие теперь место рождения величайшего человека своего времени и глазающие на обстановку той поры, стыдливо стеснившуюся за плюшевыми канатами свято чтимого бессмертия, смогут ли они хоть в малой мере ощутить гордую сопричастность прошлому, которой я обязан случайному происшествию. Ибо что бы еще ни случилось, и сколько бы каталожных карточек ни заполнили библиотекари заглавиями опубликованных мною статей, в вечность я войду как человек, запустивший некогда яблоком в Барретта.

Тем, кто родился после оглушительных открытий семидесятых годов и кто, стало быть, не видел никаких летающих предметов за вычетом разве воздушных змеев и шариков (до сих пор разрешенных, сколько я понимаю, в нескольких штатах, несмотря на недавние статьи доктора де Саттона, посвященные этой проблеме), трудно вообразить аэропланы, – в частности и потому, что старым снимкам этих величественных машин недостает жизни, удержать которую могло бы одно лишь искусство, – и странно, ни единый из великих художников прошлого не избрал их для приложения своего дара, и не сохранил тем самым от распада их образ.

Наверное я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, оказавшимся вне моей частной научной области, и возможно, личность глубокого старика, вроде меня, может показаться расщепленной, наподобие тех европейских городков, одна половина которых лежит во Франции, а другая – в России. Я сознаю это и продолжаю с опаской. Я далек от намерения пробудить тоскливое и нездоровое сожаление о летательных аппаратах, и в то же самое время мне не по силам избавиться от романтических нот, прирожденных симфоническому целому прошлого, каким я его ощущаю.

В те далекие дни, когда на Земле не осталось места, отстоящего более чем на шестьдесят часов полета от какого-либо из аэропортов, всякий мальчишка знал самолеты от кока пропеллера до дифференциальных хвостовых рулей и умел различать их разновидности не только по заострению крыла, но даже по очерку выхлопного пламени в темноте, – соперничая тем самым в способности распознавания признаков с безумными соглядатаями природы, с постлинеевскими систематиками. Чертеж разреза крыла и фюзеляжа вызывал у мальчишки всплеск творческого восторга, а модели, которые он создавал из бальзы, сосны и конторских скрепок, порождали по ходу работы такое все возрастающее волнение, что завершение их казалось, в сравнении, почти лишенным вкуса, словно душа вещи отлетала в тот миг, когда окончательно застывала ее форма.

Обретение и наука, сбережение и искусство – две этих пары держатся особняком, но когда они сходятся, ничто в мире уже не имеет значения. И потому я тихонечко отхожу, оставляя мое детство в самом типичном его мгновении, в самой пластичной из поз: замороженным глубоким гулом, что дрожит и набирает силу над головой, забывшим об оседланном смирном велосипеде – одна нога на педали, носок другой касается асфальта, глаза, подбородок, ребра вздыты к голому небу, где с неземной быстротой, которую лишь огромность его путей преображает в неторопливую замену вида с брюха видом с хвоста, проходит военный самолет, и крылья его и гудение растворяются расстоянием. Обожаемые чудовища, великие летающие машины, они ушли, исчезли, подобно стае лебедей, что с могучим свистом множества крыльев в одну весеннюю ночь пронеслась над озером Рыцарей в Мэне из неизвестности в неизвестность: лебедей вида, так и не установленного наукой, никогда не

виданных прежде, никогда не виданных с той поры, и ничего после них не осталось в небе, кроме одинокой звезды, – подобия звездочки, отсылающей к сноске, которой нам не сыскать.

*Бостон, 1945*

## 5. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ, 1945

Так случилось, что у меня имеется малопочтенный тезка, полный – имя, фамилия, отчество, – человек, которого я никогда во плоти не видел, но имею возможность судить об этой пошлой личности по ее беспорядочным налетам на твердыню моей жизни. Неразбериха началась в Праге, где мне довелось жить в середине двадцатых годов. Я получил письмо из маленькой библиотеки, состоявшей, по-видимому, при какой-то из организаций Белой Армии, подобно мне, выехавшей из России. Письмо в озлобленных тонах требовало, чтобы я немедленно возвратил экземпляр «Протоколов сионских мудрецов». Книга эта, некогда уныло одобренная Государем, представляет собой подложный меморандум, составленный полуграмотным проходимцем и оплаченный тайной полицией; единственной целью его было – подстрекнуть погромы. Библиотекарь, подписавшийся «Синепузовым», утверждал, будто я держу то, что он счел возможным назвать «столь популярной и ценной книгой», вот уже больше года. Он ссылался на прежние просьбы, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, по каковым городам, видимо, носило моего соименника.

Я зримо представил себе молодого, очень белого эмигранта машинально реакционной разновидности, образование которого прервала революция, и который успешно наверстывал утраченное время традиционными способами. Он, как видно, очень любил путешествовать, – я тоже: вот все, что было в нас общего. В Страсбурге одна русская дама спросила меня, не мой ли это брат женился на ее льежской племяннице. Одним весенним днем в Ницце ко мне в отель зашла девица с каменным лицом меж двух длинных серег, спросила меня, окинула одним-единственным взглядом, извинилась и ушла. Другой раз, в Париже, я получил телеграмму, нервно извещавшую: «NE VIENS PAS ALPHONSE DE RETOUR SOUPÇONNE SOIS PRUDENT JE T'ADORE ANGOISSÉE»<sup>10</sup>, и признаюсь, испытал мрачное удовлетворение, вообразив как мой бойкий двойник с букетом в руках неминуемо нарывается на Альфонса с его женой. Несколько лет спустя (я в то время читал лекции в Цюрихе) меня вдруг арестовали за то, что я будто бы разбил в ресторане три зеркала – своего рода триптих, изображающий моего соименника пьяным (первое зеркало), вдребезги пьяным (второе) и пьяным буяном (третье). Наконец, в 1928-м году французский консул грубо отказался проштамповать мой потрепанный нансеновский (цвета морской волны) паспорт, поскольку, заявил он, я уже однажды пролез в его страну безо всякого разрешения. В пухлом досье, которое было в конце концов извлечено на свет, я мельком увидел физиономию моего тезки. Он носил подбритые усики и стригся «ежиком», сволочь.

Вскоре после того перебравшись в Соединенные Штаты и осев в Бостоне, я решил, что стяхнул, наконец, эту нелепую тень.

Затем – в прошлом месяце, если быть точным – раздался телефонный звонок. Женщина с тяжелозвонным голосом сообщила, что она – миссис Сибил Холл, близкая подруга миссис Шарп, которая написала ей, посоветовав «связаться» со мной. С миссис Шарп я был знаком и мне даже в голову не пришло, что и я, и моя миссис Шарп могут оказаться совсем другими людьми. Златогласая миссис Холл сказала, что в пятницу вечером у нее дома состоится небольшое собрание, я мог бы прийти, ибо по слышанному ею обо мне она уверена, что дискуссия очень, очень меня увлечет. Хотя любого рода собрания мне ненавистны, я приглашение принял, побужденный к тому мыслью, что, отказавшись, пожалуй, огорчу миссис Шарп, – приятную, коротко стриженную немолодую даму в темно-бордовых брючках, с которой я познакомился на Тресковом мысе, где она делила коттедж с женщиной помоложе: обе были средней руки художницами – левого толка и с приличным достатком –

<sup>10</sup> «НЕ ПРИЕЗЖАЙ АЛЬФОНС ПОДОЗРЕВАЕТ БУДЬ БЛАГОРАЗУМЕН ОБОЖАЮ ТРЕВОЖУСЬ» (фр.)

очень милые.

Вследствие некоторых зловключений, никак не относящихся к предмету настоящего рассказа, я добрался до многоквартирного дома миссис Холл гораздо позже, чем намеревался. Престарелый лифтер, странно похожий на Рихарда Вагнера, хмуро поднял меня наверх; не улыбка горничная миссис Холл, особа с длинными ручищами, свисавшими по бокам, ожидала в прихожей, пока я избавлюсь от пальто и калош. Главным украшением прихожей служила известного рода декоративная ваза, китайской выделки и, вероятно, весьма древняя – высокая тошнотворной раскраски тварь, такие всегда ужасно меня угнетают.

Пока я переходил претенциозную комнатку, буквально набитую символами того, что рекламные авторы именуют «изящной жизнью», и пока меня вводили теоретически, ибо горничная пропала, – в просторный и томно буржуазный салон, до меня понемногу стало доходить, что это именно такое место, где можно нарваться на какого-нибудь пожилого обормота, которого кормили в Кремле икрой, или на деревянного советского русского, и что моя знакомая, миссис Шарп, по какой-то причине всегда сожалеющая о моем презрении к линии партии, к коммунизму и к «голосу его хозяина», по-видимому решила, бедняжка, будто подобный опыт способен благотворно повлиять на мой кощунственный разум.

Из общества в дюжину человек выделилась хозяйка – плоскогрудая женщина с длинными конечностями и с губной помадой на выступающих зубах. Она споро представила меня почетному и прочим гостям, и дискуссия, прерванная моим появлением, возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был щуплый мужчина с прилизанными темными волосами и лоснящимся лбом; длинноногая лампа, стоявшая у него за плечом, освещала его так ярко, что можно было различить крупички перхоти на воротнике его смокинга и полюбоваться белизною сжатых ладоней, одна из которых, как я обнаружил, была невероятно вялой и влажной. Он относился к породе людей, слабые подбородки которых, впалые щеки и незадачливые кадыки обнаруживают часа через два после бритья, – когда истает тактичный тальк, – сложную систему розовых прыщиков, частью скрытых синевато-серой штриховкой. Он носил перстень с гербом, и я почему-то вспомнил смугловатую русскую девушку из Нью-Йорка, до того напуганную возможностью сойти – из-за внешности – за еврейку, что она таскала крестик прямо на горле, хоть веры в ней было так же мало, как и ума. Английский язык оратора отличался приятной беглостью, но жесткое «джер» в произношении слова «Germany»<sup>11</sup> и назойливо возникавший эпитет «wonderful»<sup>12</sup>, первый слог которого звучал как «ван», обличали его тевтонское происхождение. Он то ли был, то ли стал, то ли вот-вот собирался стать профессором немецкого языка или музыки, или сразу обоих где-то на Среднем Западе; имени его я не уловил, и потому буду звать его «д-р Шу».

– Естественно, он был безумен! – вскричал д-р Шу в ответ на какой-то вопрос одной из дам. – Помилуйте, ведь только безумец мог так запутать войну. И я, подобно вам, определенно надеюсь, что в скором времени, если выяснится, что он жив, его надежно упрячут в санаторию какой-нибудь нейтральной страны. Вполне по заслугам. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы вторгнуться в Англию. Безумием было надеяться, что война с Японией удержит Рузвельта от решительного вмешательства в европейские дела. Наихудший безумец – это тот, кто не учитывает возможности чужого безумия.

– Так вот все думаешь, думаешь, – сказала толстая дамочка, по-моему, миссис Малберри, – а ведь тысячи наших мальчиков, убитых на Тихом океане, остались бы живы, если бы все эти самолеты и танки, которые мы отдавали Англии и России, использовать для уничтожения Японии.

– Вот именно, – сказал д-р Шу. – В том-то и состояла ошибка Адольфа Гитлера. Будучи безумцем, он не смог взять в расчет интриги безответственных политиканов. Будучи безумцем, он верил, что другие правительства станут действовать в согласии с принципами милосердия и здравого смысла.

– Я всегда вспоминаю о Прометее, – сказала миссис Холл. – Как он похитил огонь и

---

<sup>11</sup> Германия (англ.)

<sup>12</sup> Здесь: великолепный (англ.)

был ослеплен разгневанными богами.

Старая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Шу объяснить, почему же немцы не восстали против Гитлера.

Д-р Шу на миг опустил веки.

– Ответ ужасен, – с натугой сказал он. – Вы знаете, я сам немец, чистой баварской крови, хотя и лояльный гражданин этой страны. И тем не менее, я собираюсь сказать о моих бывших соотечественниках нечто ужасное. Немцы, мягкие ресницы вновь полуприкрыли глаза, – немцы – это нация мечтателей.

К этому времени я, разумеется, уяснил, что миссис-холлова миссис Шарп в такой же полноте отличается от моей, в какой я – от моего соименника. Кошмар, в который меня занесло, ему, вероятно, представился бы уютным вечером в обществе родственных душ, а д-р Шу – необычайно умным и блестящим *causeur*<sup>13</sup>. Робость и, возможно, нездоровое любопытство удерживали меня от того, чтобы уйти. Сверх того, разволновавшись, я начинаю так заикаться, что любая моя попытка высказать д-ру Шу мое о нем мнение прозвучала бы подобием выхлопов мотоцикла, не желающего заводиться морозной ночью, на нетерпимой улочке городского предместья. Я огляделся, пытаюсь увериться, что все это настоящие люди, а не Петрушкин вертеп.

Хорошеньких женщин тут не было – все достигли сорока пяти или перевалили за них. Все, готов поручиться, принадлежали к книжным клубам, к бриджным клубам, к клубам блаженным и к великой холодной общине подруг неминуемой смерти. Все казались беззаботно бесплодными. У кого-то, надо думать, имелись дети, но как их породили свет, стало теперь забытой загадкой; многие отыскивали подмену созидательной силе в разного рода эстетических домогательствах, таких, например, как украшение комитетских зал. Я только взглянул на одну из них, сидевшую рядом со мной, – напряженную даму с веснушчатой шеей, – и уж знал, что она, урывками прислушиваясь к д-ру Шу, тревожится, по всем вероятностям, о чем-то, предназначенном украсить некое общественное действо или увеселение военной поры, точную природу которого я определить не сумел. Я понял, однако, как сильно она нуждается в этом добавочном штрихе. «Что-нибудь в центре стола, – размышляла она. – Нужно что-то такое, от чего они рты разинут, – может быть, большую – огромную! вазу искусственных фруктов. Не из воска, конечно. Что-нибудь миленькое, под мрамор.»

Очень, очень жаль, что во время знакомства с дамами в мозгу у меня не отложились их имена. Имена двух сидевших на стульях тощих взаимозаменяемых незамужних женщин начинались на «В», что же до прочих, то одна из них наверняка звалась мисс Биссинг. Это я ясно расслышал, но правда, не смог потом связать ни с одним из лиц или лицезобразных объектов. Мужчина, кроме меня и д-ра Шу, присутствовал лишь один – мой соотечественник, полковник Маликов или Мельников, в передаче миссис Холл имя его прозвучало скорее как Милуоки. Пока разносили какое-то блеклое безалкогольное питье, он наклонился ко мне, издав кожистый скрип, как если б носил сбрую под потертым синим костюмом, и хриплым русским шепотом сообщил, что имел честь знать моего достопочтенного дядюшку, которого я тут же представил в виде румяного, но несъедобного яблочка с фамильного древа моего соименника. Д-р Шу, однако, вновь принялся разглагольствовать, и полковник выпрямился, обнаружив в удаляющейся улыбке желтый сломанный клык и обещая учтивыми жестами, что мы всласть наговоримся позднее.

– Трагедия Германии, – изрек д-р Шу, аккуратно складывая бумажную салфетку, которой он вытер тонкие губы, – это также и трагедия культурной Америки. Я выступал во множестве женских клубов и в прочих центрах просвещения, и всюду замечал, как глубоко ненавистна всякому утонченному и чувствительному человеку война в Европе, ныне, по счастью, завершившаяся. И еще я замечал, с какой охотой память культурных американцев обращается к более радостным дням, к путешествиям за границу, к незабываемым месяцам и к еще более незабываемым годам, проведенным некогда в стране искусства, музыки, философии и доброго юмора. Они вспоминают милых друзей, которых они там имели, время, проведенное в учении и довольстве в лоне семьи какого-нибудь немецкого аристократа, ис-

<sup>13</sup> Болтун (*фр.*)

ключительную чистоту во всем, песни на закате прекрасного дня, чудесные маленькие города, весь этот мир доброты и романтики, найденный ими в Мюнхене или в Дрездене.

– Моего Дрездена больше нет, – сказала миссис Малберри. – Наши бомбы уничтожили и его, и все, что он олицетворял.

– Британские, в данном случае, – мягко сказал д-р Шу. – Но, конечно, война есть война, хоть я и допускаю, что затруднительно представить немецкий бомбардировщик преднамеренно выбирающий своей мишенью какое-нибудь священное историческое место в Пенсильвании или Вирджинии. Да, война ужасна. Фактически, она становится почти нестерпимой, когда ее навязывают двум нациям, имеющим столь много общего. То, что я сейчас скажу, может удивить вас своей парадоксальностью, но право же, вспоминая солдат, погибших в Европе, невольно говоришь себе, что они, по крайней мере, избавлены от ужасных опасений, которыми мы, гражданские лица, вынуждены втайне терзаться.

– Мне кажется, это очень верно, – медленно кивая, заметила миссис Холл.

– Да, но как же все эти истории? – спросила вяжущая старуха. – Ну, про которые все время пишут в газетах, – насчет немецких зверств. Я полагаю, это все больше пропаганда?

Д-р Шу улыбнулся усталой улыбкой.

– Я ожидал этого вопроса, – с оттенком печали в голосе произнес он. – К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотографии и тому подобное стали орудиями современной войны. Не удивлюсь, если и немцы сочиняли истории о жестоком обращении американских солдат с невинным гражданским населением. Вспомните хотя бы все небывлицы, выдуманные о так называемых германских зверствах в Первую мировую войну, – жуткие рассказы о совращенных бельгийских женщинах и тому подобное. Что же, сразу после войны, летом 1920-го года, если не ошибаюсь, особый комитет немецких демократов досконально изучил этот вопрос, а все мы хорошо знаем, как педантически дотошны и скрупулезны немецкие эксперты. И что же, они не нашли ни единой крупинки свидетельств в пользу того, что немцы вели себя не так, как подобает солдатам и джентльменам.

Одна из мисс В. иронично заметила, что зарубежным корреспондентам тоже хочется кушать. Замечание было не лишено остроумия. Все оценили ее ироничное и остроумное замечание.

– С другой стороны, – продолжал д-р Шу, когда улеглось веселье, – давайте на миг забудем о пропаганде и обратимся к обыденным фактам. Позвольте мне нарисовать для вас картину из прошлого, картину довольно прискорбную, но, быть может, необходимую. Я попрошу вас представить, как немецкие юноши с гордостью вступают в какой-нибудь завоеванный ими польский или русский город. Они идут и поют. Они не знают, что их фюрер безумен; они простодушно верят, что принесли павшему городу надежду, счастье, и чудесный порядок. Откуда им знать, что в результате дальнейших ошибок и заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет со временем к тому, что враг обратит в пылающее поле битвы каждый из городов, в который они, эти немецкие юноши, надеялись принести вечный мир. Храбро маршируя по улицам во всем своем убранстве, со своими чудесными боевыми машинами и знаменами, они улыбаются всем и каждому, потому что они трогательно добродушны и полны самых лучших намерений. И вот, постепенно они замечают, что улицы, по которым они так по-мальчишески, так уверенно маршируют, заполняет безмолвная и неподвижная толпа евреев, взирающих на них со свирепой ненавистью, оскорбляющих каждого, проходящего мимо них солдата, – нет, не словами, для этого они слишком умны, – но злобными взглядами и плохо скрываемыми ухмылками.

– Уж я эти взгляды знаю, – мрачно произнесла миссис Холл.

– Да, но они их не знали, – плачущим голосом сказал д-р Шу. – Вот в чем все дело. Они были озадачены. Они недоумевали и терзались обидой. И что они сделали? Поначалу они пытались побороть эту ненависть терпеливыми объяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, окружавшая их, становилась лишь толще. В конце концов, им пришлось взять под стражу главарей этой злобной и заносчивой коалиции. Что им еще оставалось делать?

– Я знала одного старого русского еврея, – сказала миссис Малберри. – Ну, просто деловой знакомый мистера Малберри. Так вот, он мне однажды признался, что с удовольствием задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я пришла в

такой ужас, что просто стояла перед ним и не знала, что сказать.

– А вот я бы ему сказала, – произнесла коренастая женщина, сидевшая, разведя колени. – По правде говоря, больно много теперь толкуют про наказание, которое ожидает немцев. А ведь и они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вашими словами насчет того, что не виноваты они в этих так называемых немецких зверствах, большую часть которых, скорее всего, сами же евреи и выдумали. Я просто из себя выхожу, когда слышу, всю эту трескотню про печи да про застенки, в которых, если они вообще существовали, и орудовало-то всего несколько человек, таких же ненормальных, как Гитлер.

– Что ж, мне кажется, следует понимать, – со своей невыносимой улыбкой сказал д-р Шу, – и принимать во внимание работу живого семитского воображения, которое контролирует американскую прессу. Следует помнить и о том, что имели место чисто санитарные мероприятия, к которым опрятные немецкие солдаты вынуждены были прибегать, избавляясь от трупов умиравших в лагерях стариков, а в некоторых случаях – и от жертв эпидемии тифа. Сам я совершенно свободен от каких бы то ни было расовых предрассудков, и потому не могу понять, как соотносятся эти вековые расовые проблемы с позицией, которую следует занять по отношению к Германии ныне, когда она капитулировала. Особенно, если вспомнить про обращение, которому подвергаются туземцы в британских колониях.

– Или про то, как обходились еврейские большевики с русским народом ай-я-яй! – заметил полковник Мельников.

– Но теперь ведь все по-другому, правда? – спросила миссис Холл.

– Теперь-то конечно, – сказал полковник. – Теперь великий русский народ воспрянул, а моя родина снова стала великой державой. Мы имели трех великих вождей. Мы имели Ивана, которого враги называли Грозным, потом Петра Великого, а теперь имеем Иосифа Сталина. Я сам из Белых русских, служил в Императорской гвардии, но я также русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, доносящемся из России, я чувствую мощь, я чувствую величие прежней России-матушки. Она опять стала страной солдат, веры и истинных славян. И я знаю, что когда Красная Армия входила в немецкие города, ни единого волоса не упало с немецких плеч.

– Голов, – сказала миссис Холл.

– Да, – сказал полковник, – никаких голов не упало с их плеч.

– Мы все в восторге от ваших соотечественников, – сказала миссис Малберри. – Но как быть с распространением коммунизма в Германии?

– Если мне будет дозволено высказать одно соображение, – сказал д-р Шу, – я хотел бы указать, что если мы не проявим осторожности, Германии больше не будет. Основная проблема, перед лицом которой окажется эта страна, состоит в том, чтобы не дать победителям поработить германскую нацию, отправив молодых и здоровых, слабых и пожилых, интеллектуалов и штатских, – на каторжные работы в бескрайние земли Востока. Это противно всем принципам демократии и ведения войн. Если вы скажете мне, что немцы точно так же поступали с завоеванными ими народами, я вам напомню о трех моментах: во-первых, немецкое государство не было демократическим и нельзя было ожидать, что оно станет действовать как таковое; во-вторых, большинство так называемых «рабов», если не все они, переезжало по собственной свободной воле; и в-третьих, – и это самое важное – их хорошо кормили, хорошо одевали, они жили в цивилизованной среде, которую – при всем нашем естественном восхищении обширностью населения России и разнообразием присутствующих ей географических условий – немцы вряд ли смогут найти в стране Советов.

– Не следует забывать и о том, – продолжал д-р Шу, драматически возвышая голос, – что нацизм, в сущности, был не исконно немецкой, но чужеродной для немцев системой, угнетавшей народ Германии. Адольф Гитлер – австриец, Лей – еврей, Розенберг – полу-француз, полу-татарин. Германская нация так же изнывала под этим негерманским игмом, как страдали от последствий войны, ведшейся на их территории, другие страны Европы. Для мирного населения, которое не только калечили и убивали, но драгоценную собственность которого, его чудесные дома, уничтожали бомбами, нет особой разницы, сбрасывались ли эти бомбы самолетами немцев или союзников. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все прочие народы Европы являются ныне членами одного трагического братства, все они равны в горестях и надеждах и заслуживают равного к себе отношения, так давайте

же оставим задачу отыскания виновных и суда над ними будущим историкам, беспристрастным старым ученым из бессмертных центров европейской культуры, из мирных университетов Гейдельберга, Йены, Бонна, Лейпцига, Мюнхена. Пусть Феникс Европы вновь расправит свои орлиные крылья, и Бог да благословит Америку.

Наступила почтительная пауза, во время которой д-р Шу трепетно раскуривал сигарету, а затем миссис Холл, очаровательным девичьим жестом сжав ладони, попросила его завершить собрание какой-нибудь прекрасной музыкой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом отдал мне ногу, извиняясь, тронул меня кончиками пальцев за колено и, присев за рояль, склонил голову и оставался недвижим несколько звучно безмолвных секунд. Затем медленно и очень нежно он уложил сигарету в пепельницу, пепельницу перенес с рояля в услужливые ладони миссис Холл и снова свесил голову. Наконец, он чуть прерывающимся голосом сказал:

– Прежде всего, я сыграю «Усеянное звездами знамя»<sup>14</sup>.

Чувствуя, что этого мне не снести, – уже, собственно говоря, ощущая, как к горлу подкатывает тошнота, – я встал и поспешно покинул комнату. Только при подходе к шкапу, в который, как я заметил, горничная поместила мою одежду, меня настигла миссис Холл и с нею лавина далекой музыки.

– Вам уже пора уходить? – спросила она. – Неужели действительно пора?

Я отыскал пальто, уронил плечики и с топотом влез в калоши.

– Вы либо глупцы, либо убийцы, – сказал я. – Либо и то, и другое вместе. А этот человек – грязный немецкий шпион.

Как я уже упоминал, в решительные минуты меня поражает сильное заикание, а потому эта фраза вышла не столь гладкой, какова она на бумаге. Но свое она сделала. Прежде чем миссис Холл нашлась с ответом, я грохнул за собой дверь и снес пальто вниз по лестнице, как несут дитя из горящего дома. Уже на улице я обнаружил, что шляпа, едва мной не надетая, принадлежит не мне.

То была изрядно поношенная мягкая фетровая шляпа, именуемая здесь почему-то «федорой», несколько посерее моей и с лентой поуже. Мне она оказалась мала. Внутри имелся ярлык «Werner Bros. Chicago»<sup>15</sup>, пахла она чужой щеткой и чужой жидкостью для волос. Принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, она не могла, что же до мужа миссис Холл, то он, насколько я понимаю, либо умер, либо держит свои шляпы в какой-то другой квартире. Противно было тащить эту дрянь с собой, однако ночь была холодна и дождлива, так что я использовал ее в качестве зачаточного зонта. Едва добравшись до дому, я засел за письмо в Федеральное бюро расследований, но не очень в этом преуспел. Моя неспособность схватывать и удерживать имена серьезно вредила качеству информации, которой я хотел поделиться, а так как следовало объяснить мое присутствие на собрании, пришлось притянуть массу расплывчатых и невнятно подозрительных сведений касательно моего тезки. И что хуже всего, при связном изложении подробностей вся история начинала отдавать сновидением и гротеском, ибо в сущности я только и мог сообщить, что человек, проживающий где-то на Среднем Западе, человек, которого я не знал даже по-имени, с симпатией отзывался о немецком народе перед компанией старых дур, собравшейся на частной квартире. А если учесть выражения той же симпатии, которых все больше выходит из-под пера кой-каких хорошо известных обозревателей, происшедшее, насколько я в состоянии судить, могло быть совершенно законным.

На следующее утро, рано, в дверь позвонили, я отворил ее и увидел перед собой д-ра Шу, с непокрытой головой, в дождевике, с осторожной полуулыбкой на синерозовом лице. Он молча протягивал мне мою шляпу. Я принял ее и промямлил какие-то выражения благодарности. Последние он ошибочно принял за приглашение войти. Я не мог припомнить, куда засунул его «федору», и судорожные поиски, которые мне приходилось вести более-менее под его присмотром, скоро обратились в фарс.

<sup>14</sup> Государственный гимн США.

<sup>15</sup> «Братя Вернер, Чикаго» (англ.)

– Послушайте, – сказал я, – я пришлю вам шляпу почтой, с посыльным, как угодно, если найду ее, а не найду, – так чек.

– Но я сегодня уезжаю, – мягко сказал он. – И кроме того, мне хотелось бы услышать какие-то объяснения того странного замечания, которое вы адресовали моему очень близкому другу, миссис Холл.

Он терпеливо слушал, пока я со всей доступной мне лаконичностью высказывался в том духе, что это ей объяснят власти, полиция.

– Вы заблуждаетесь, – сказал он, наконец. – Миссис Холл – хорошо известная в обществе дама, у нее обширные связи в официальных кругах. Слава Богу, мы живем в великой стране, где всякий может высказывать свои мысли, не подвергаясь оскорблениям за выражение личных убеждений.

Я велел ему убраться. Когда затих мой последний лепет, он сказал:

– Я уйду, но прошу вас запомнить, что в этой стране... – и в знак учтвого укора он помахал согнутым пальцем – из стороны в сторону, на немецкий манер.

Прежде чем я успел решить, куда его стукнуть, он выкатился из квартиры. Я весь дрожал. Моя неспособность действовать решительно, временами забавлявшая меня и даже доставлявшая тонкое удовлетворение, теперь обернулась гнусной неполноценностью. Внезапно в глаза мне бросилась шляпа д-ра Шу – в прихожей, под телефонным столиком, на кипе старых журналов. Я подбежал к выходящему на улицу окну, раскрыл его и в ту минуту, что д-р Шу показался четырьмя этажами ниже, запустил шляпой в него. Описав параболу, шляпа плюхнулась, точно блин, посреди мостовой. Затем она сделала сальто, на несколько дюймов промазала мимо лужи и улеглась, зияя, неправильной стороною кверху. Д-р Шу, не поднявши глаз, призначительно помахал мне рукой, подобрал шляпу, убедился, что грязи на ней не слишком много, надел, и пошел прочь, бойко вихляя задом. Я часто гадал, как этим мозгливым немцам удается, нацепив дождевик, становиться такими пухлыми со спины.

Остается только сказать, что неделю спустя мне доставили письмо, написанное на удивительном русском языке, которого не передать никаким переводом.

«Милостивый сударь, – говорилось в нем, – всю мою жизнь вы преследовали меня. Лучшие друзья отворачивались от меня, прочитав ваши книги и сочтя меня автором этой упадочной, декадентской писанины. В 1941-м году, а потом и в 1943-м немцы арестовывали меня во Франции за слова, которых я никогда не говорил и не думал. Теперь и здесь, в Америке, не удовольствовавшись причинением мне всевозможных досад в иных странах, вы имеете наглость выдавать себя за меня и в пьяном виде заявляться в дом высокочтимой особы. Я этого не потерплю. Я мог бы упрятать вас за решетку и опозорить как самозванца, но полагаю, что вам это не понравится, а потому предлагаю, чтобы в качестве возмещения...»

Сумма, которую он запросил, оказалась, в сущности, очень скромной.

*Бостон, 1945*

## 6. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

### 1

В четвертый раз за то же число лет перед ними встала проблема: что подарить на день рождения молодому человеку с неизлечимо поврежденным рассудком. Желаний он не имел. Творения человеческих рук представлялись ему либо ульями зла, дрожащими в пагубном оживлении, которое только он и умел воспринять, либо грубыми приспособлениями, негодными к использованию в его отвлеченном мире. Исключив множество вещей, способных напугать его или обидеть (любой механизм, к примеру, был под запретом), родители выбрали пустячок – невинный и вкусный: корзинку с десятью баночками разных фруктовых желе.

Ко времени его рождения они уже состояли в браке долгое время: миновало еще двадцать лет, теперь они стали совсем стариками. Ее тускло-каштановые поседевшие волосы были уложены кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (от миссис Сол, к примеру, их ближайшей соседки с лилово-розовым от грима лицом под шляпкой в виде пучка полевых цветов), она подставляла придирчивому свету весеннего дня оголенное белое лицо. Муж ее, бывший на родине довольно преуспевающим коммерсантом, ныне целиком зависел от своего брата Исаака, настоящего американца с почти сорокалетним стажем. С Исааком они видались нечасто и между собой называли его «князем».

В ту пятницу все складывалось неладно. Поезд подземки лишился жизненных токов между двумя станциями и четверть часа только и слышалось, что прилежное биение сердца да шелест газет. Автобуса, на котором нужно было ехать дальше, пришлось дожидаться сто лет, а приехал он битком набитым горластыми школьниками. Лил сильный дождь, когда они поднимались по ведущей к санатории бурой дорожке. Там снова пришлось ждать, и вместо их мальчика, привычно шаркая входившего в комнату (бедное лицо в пятнах от угрей, плохо выбритое, хмурое, смущенное), явилась, наконец, уже знакомая им и вовсе неинтересная сестра и весело объявила, что он опять пытался покончить с собой. С ним все в порядке, сказала она, но посещение может его растрогать. В этом заведении так отчаянно не хватало людей и всякую вещь так легко могли засунуть не туда или перепутать с другой, что они решили не оставлять подарка, а принести его потом, когда придут снова.

Подождав, пока муж раскроет зонт, она взяла его под руку. Он все прочищал горло с особой звучностью, означавшей, что он расстроен. Перейдя улицу, они встали под навесом автобусной остановки, муж сложил зонт. В нескольких футах от них под качающимся и плачущим деревом полумертвый бесперый птенец беспомощно дергался в луже.

За долгую поездку к станции подземки она и муж не обменялись ни словом: всякий раз что она взглядывала на его старые руки (набухшие вены, кожа в коричневых пятнах), сжатые и подрагивающие на ручке зонта, она ощущала, как поднимаются изнутри и напирают слезы. Она огляделась, пытаясь за что-то зацепиться сознанием, и с легким потрясением, смесью сочувствия и удивления увидела, что одна из пассажирок, темноволосая девушка с неопрятно подмалеванными красным ногтями на пальцах ног, плачет, прислонясь к плечу женщины постарше. На кого эта женщина так похожа? Она похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла за одного из Соловейчиков – в Минске, давным-давно.

В последний раз, когда их сын пытался покончить с собой, выбранный им способ был, по словам доктора, шедевром изобретательности; он преуспел бы, если бы не завистливый сосед-пациент, решивший, что он учится летать и помешавший ему. Чего он хотел на самом деле, так это продрать в своем мире дыру и сбежать.

Система его безумия стала предметом подробной статьи, напечатанной в ученом ежемесячнике, впрочем, задолго до того она и муж сами ее разгадали. «Мания упоминания» – так назвал ее Герман Бринк. В этих случаях – очень редких – больной воображает, будто все, что происходит вокруг, содержит скрытые намеки на его существо и существование. Он исключает из заговора реальных людей, – потому что считает себя намного умнее всех прочих. Мир явлений тайно следует за ним, куда б он ни направлялся. Облака в звездном небе медленными знаками сообщают друг другу невысказанные доскональные сведения о нем. При наступлении ночи деревья, темно жестикулируя, беседуют на языке глухонемых о его сокровеннейших мыслях. Камушки, пятна, блики солнца, складываясь в узоры, каким-то ужасным образом составляют послания, которые он обязан перехватить. Все сущее – шифр, и он – тема всего. Одни филеры, такие как стекла, тихие заводы, суть равнодушные соглядатаи, другие – пиджаки в магазинных витринах – пристрастные свидетели, линчеватели по натуре; еще другие (грозы, текущая вода), истеричные до безумия, имеют о нем искаженное представление и нелепо заблуждаются, толкуя его поступки. Приходится вечно быть начеку и каждую минуту, каждый кусочек жизни отдавать расшифровке волнообразных движений окрестных вещей. Самый воздух, выдыхаемый им, снабжается биркой и убирается в архив. И если б еще любопытство, которое он пробуждает, ограничивалось ближайшим его окружением – увы, это не так! С расстоянием потоки неистовых сплетен ширятся, становясь многословнее и мощнее. Плывут над огромными равнинами увеличенные в миллионы раз

очертания его кровавых телец; а еще дальше громады гор, невыносимой крепости и высоты, выводят на языке гранита и горюющих елей конечную истину его бытия.

## 2

Когда они выбрались из духоты и грома подземки, последние подонки дня мешались с уличными огнями. Она хотела купить немного рыбы на ужин и вручила ему корзинку с баночками, сказав, чтобы он шел домой. Он долез до третьей площадки и тут вспомнил, что днем отдал ей ключи.

Молча он сел на ступени и молча встал, когда минут через десять она поднялась, тяжело ступая по лестнице, через силу улыбаясь, покачивая головой в осуждение своей глупости. Они вошли в свою двухкомнатную квартиру, и он сразу направился к зеркалу. Растянув большими пальцами рот в жуткой, словно у маски, гримасе, он вытащил новую, безнадежно неудобную челюсть и оборвал сочлененные с ней длинные бивни слюны. Пока она накрывала на стол, он читал русскую газету. Так, читая, он поглощал тусклую снедь, для которой не требовалось зубов. Она понимала его состояние и тоже молчала.

Он лег, а она осталась в гостиной с колодой замызганных карт и старыми альбомами. Насупротив через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по искореженным мусорным бакам, мягко светились окна, и за одним из них виднелся мужчина в черных штанах, навзничь лежавший, закинув голые руки, на неприбранной постели. Она опустила шторы и стала перебирать фотографии. В младенчестве он выглядел более удивленным, чем большинство детей. Из складки альбома выпала немецкая горничная, что служила у них в Лейпциге, и ее толстомордый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг, смазанный, наклонный фасад дома, совсем не в фокусе. Четыре года, в парке: угрюмый, пугливый, лоб в складочках, отводит глаза от настырной белки так же, как от всякого чужака. Тетя Роза, суматошная, нескладная старуха с тревожными глазами, жившая в трепетном мире дурных новостей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей, – пока немцы не убили ее и с нею вместе всех, о ком она так волновалась. Шесть лет – это тогда он стал рисовать чудесных птиц с человеческими руками и ногами и мучиться бессонницей, совсем как взрослый мужчина. Его двоюродный брат, теперь прославленный шахматист. Снова он, восьмилетний, его уже трудно понять, он боится обоев в коридоре и одной картинки в книге, изображающей всего только мирный ландшафт с валунами на склоне холма и старым тележным колесом, повисшим на ветке безлистого дерева. Десять лет: в тот год они покинули Европу. Стыд, жалость, унижительные затруднения, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той специальной школе. Тут-то и настала в его жизни пора, совпавшая с долгим выздоровлением от воспаления легких, когда все мелкие фобии, которые родители упрямо считали причудами изумительно одаренного мальчика, как бы спеклись в плотный клубок логически переплетенных иллюзий, полностью отгородивших его от любого нормального разума.

Она смирилась с этим и со многим, многим иным, – потому что, в сущности, жить – это и значит мириться с утратами одной радости за другой, а в ее случае и не радостей даже – всего лишь надежд на улучшение. Она думала о нескончаемых волнах боли, которую по какой-то причине приходится сносить ей и мужу; о невидимых великанах, невообразимо терзающих ее мальчика; о разлитой в мире несметной нежности; об участии этой нежности, которую либо сминают, либо изводят впустую, либо обращают в безумие; о заброшенных детях, самим себе напевающих песенки по неметеным углам; о прекрасных сорных растениях, которым некуда спрятаться от землепашца и остается только беспомощно наблюдать за его обезьяньей сутулой тенью, оставляющей за собой искалеченные цветы, за приближением чудовищной тьмы.

## 3

Было уже за полночь, когда она услышала из гостиной, как застонал муж. Он вошел, волоча ноги, в накинutom по верх ночной сорочки старом пальто с каракулевым воротником,

которое предпочитал красивому голубому халату.

– Я не могу спать, – выкрикнул он.

– Почему, – спросила она, – почему ты не можешь спать? Ты был такой усталый.

– Я не могу спать потому, что я умираю, – сказал он и лег на кушетку.

– Это желудок? Хочешь, я позвоню доктору Солову?

– Какие доктора, зачем доктора, – простонал он. – К черту докторов! Мы должны побыстрее забрать его оттуда. Иначе нам отвечать. Отвечать! – повторил он и сел, скрючившись, опустив на пол ступни и стучая себя в лоб стиснутым кулаком.

– Хорошо, – тихо сказала она, – мы заберем его завтра утром.

– Я бы чаю выпил, – сказал муж и ушел в уборную.

С трудом нагнувшись, она собрала несколько карт и снимков, соскользнувших с кушетки на пол: валет червей, девятка пик, туз пик, Эльза и ее омерзительный хахаль.

Он вернулся повеселевшим, на ходу громко объясняя:

– Я все обдумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый будет часть ночи проводить рядом с ним, а другую – здесь, на кушетке. По очереди. Найдем доктора, чтобы навещал его хотя бы два раза в неделю. А князь пусть говорит, что хочет. Да и нечего ему будет сказать, так выйдет даже дешевле.

Зазвонил телефон. В такое время он никогда не звонил. Левый шлепанец соскользнул с ноги мужа, он застыл посреди комнаты, шаря пяткой и пальцами, по-детски раскрыв беззубый рот, изумленно уставясь на жену. На звонки отвечала она, потому что лучше знала английский.

– Можно Чарли? – спросил пасмурный девичий голос.

– Какой номер вам нужен? Нет. Это неправильный номер.

Трубка мягко легла на рычаг. Ее рука поднялась к усталому старому сердцу.

– Как он меня напугал, – сказала она.

Муж неловко улыбнулся и тут же возобновил взволнованный монолог. Они заберут его прямо с утра. Ножи и вилки придется держать под замком. Впрочем, даже в худшем своем состоянии он для людей не опасен.

Телефон зазвонил снова. Тот же молодой бестонный голос спросил Чарли.

– У вас неправильный номер. Я вам скажу, что вы делаете: вы набираете букву О вместо нуля.

Они уселись за неожиданно праздничное ночное чаепитие. Подарок стоял на столе. Муж шумно прихлебывал чай; лицо его покраснелось, время от времени он поднимал стакан и покручивал, чтобы сахар разошелся получше. Вена с той стороны его лысой головы, где сидело большое родимое пятно, приметно вздулась, и хоть утром он брился, на подбородке проступила серебряная щетина. Пока она наливала второй стакан, он, надев очки, в который раз с удовольствием рассматривал сияющие баночки – желтые, зеленые, красные. Его косные мокрые губы выговаривали по складам названия с броских бирок: абрикос, виноград, морская слива, айва. Он как раз добрался до кислицы, когда опять зазвонил телефон.

*Бостон, 1948.*

## 7. СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ДВОЙНОГО ЧУДИЩА

Несколько лет назад доктор Фрике задал мне и Ллойдю вопрос, на который теперь я попытаюсь ответить. Погладив с мечтательной улыбкой убогоговоренного ученого соединяющую нас толстую хрящевую связку, – *omphalopagus diaphragmo-xiphodidymus*<sup>16</sup>, как выразился в схожем случае Панкоуст, – он осведомился, можем ли мы припомнить самый первый случай, когда один из нас или мы оба осознали необычайность наших обстоятельств и нашей судьбы. Все, что вспомнилось Ллойдю, – это как наш дедушка Ибрахим (или Аким, или Ахем – неприятная груда мертвых звуков на наш нынешний слух!), бывало, гладил то, что погладил доктор, и говорил – «золотой мост». Я промолчал.

<sup>16</sup> Область пупка, подлежащая рассечению по диафранме.

Наше детство прошло в доме дедушки невдалеке от Караца, на вершине тучного холма, над Черным морем. Младшую из его дочерей, розу Востока, жемчужину седого Ахема (коли так, старый прохвост мог бы приглядывать за нею получше), обесчестил в придорожном саду наш безымянный родитель, и едва породив нас, она умерла – полагаю, единственно от ужаса и печали. Одна серия сплетен указывала на венгерского коробейника, другая отдавала предпочтение немецкому коллекционеру птиц либо кому-то из членов его экспедиции – скорее всего, таксидермисту. Сумрачные тетки в тяжелых ожерельях, в балахонистых платьях, пропахших бараниной и розовым маслом, с отвратительным рвением ухаживали за нами в пору нашего чудовищного младенчества.

В окрестных деревнях скоро прознали о поразительной новости и принялись засылать к нам на двор разного рода любознательных чужаков. В праздничные дни мы видели, как они карабкаются по склонам нашего холма, будто пилигримы на цветной картинке. Среди них был пастух в семь футов ростом и лысый человечек в очках, и солдаты, и растущие тени кипарисов. Приходили и дети – во всякое время, – и наши ревнивые няньки пинками гнали их прочь; но почти ежедневно какой-нибудь черноглазый, коротко остриженный отрок в выцветших до голубизны штанах с темными заплатами исхитрялся пролезть сквозь кизил, жимолость и сплетенные стволы иудиных деревьев в мощный дворик со стареньким студеным фонтаном, где под выбеленной стеной тихо сидели, посасывая урюк, малютки Ллойд и Флойд (в то время мы носили иные имена, полные вороньих придыханий, – ну да не важно). Тогда, внезапно, «Ж» сталкивалась с «К», римская двойка с единицей, ножницам являлся нож.

Нельзя, конечно, и сравнивать этот познавательный толчок, каким бы ни был он будоражащим, с эмоциональным ударом, постигшим мою мать (и кстати, сколько чистого блаженства в таком намеренном применении притяжательного в единственном числе!). Мама должна была сознавать, что рождает двойню, но узнав, как она несомненно узнала, что двойня оказалась спящей, – что испытала она тогда? При той несдержанной, невежественной, неистово говорливой родне, что нас окружала, вопль домочадцев должен был подняться прямо у ее измятого ложа, сразу дав ей понять, что случилась какая-то страшная беда; да можно с уверенностью сказать даже, что в горячке испуга и сострадания сестры показали ей двойное дитя. Я не говорю, что мать не может любить такое сдвоенное существо – и забыть в этой любви о темной росе его неблаготворного зачатия; я только думаю, что смесь отвращения, жалости и материнской любви оказалась ей не по силам. Обе части двойного комплекта, возникшего перед ее испуганным взором, были здоровыми, миловидными маленькими частями с шелковистым светлым пушком на лиловато-розовых крохотных головках, с хорошо сформированными каучуковыми ручками-ножками, двигавшимися словно щупальца какого-то диковинного морского животного. Каждая была явно нормальной, но вместе они образовали чудовище. И впрямь, странно думать, что простая полоска ткани, ломоть плоти размером не более печени ягненка способен превратить радость, гордость, нежность, обожание и благодарность перед Господом в отчаяние и ужас.

В собственном нашем случае все было много проще. Взрослые слишком отличались от нас во всех отношениях, чтобы понуждать к какому-либо сравнению, но первый же сверстник, нас посетивший, явил мне маленькое откровение. Покамест Ллойд безмятежно созерцал пораженного жутью ребенка лет семи или восьми, который глазел на нас из-под горбатого и столь же глазастого инжира, я, помнится, вполне уяснил существенное различие между собой и этим новым лицом. Он отбрасывал на землю короткую синюю тень, я тоже; но в добавление к этому схематичному, плоскому и нестойкому спутнику, которым и он, и я были обязаны солнцу, и который покидал нас в пасмурную погоду, я обладал еще одной тенью, осязаемым отражением моего телесного я, бывшим всегда при мне, всегда слева, тогда как мой гость как-то сумел потерять свою тень или отстегнуть и оставить дома. Соединенные Ллойд и Флойд были нормальны и полноценны, а этот – ни то ни се.

Но может быть для того, чтобы прояснить этот предмет в той полноте, которой он заслуживает, я должен что-то сказать о еще более ранних воспоминаниях. Пожалуй, – если только повзрослевшие чувства не заслонили более ранних, – я мог бы положительно засвидетельствовать воспоминания о легком отвращении. Вследствие нашей передней спаренно-

сти мы изначально лежали лицом друг к другу, соединенные общим пупом, и в те первые годы нашего существования мое лицо непрестанно терлось о твердый нос и мокрые губы моего двойника. Естественным следствием этих утомительных соприкасаний стала у нас привычка откидывать головы и отстранять по возможности дальше лица. Значительная гибкость соединявших нас уз позволила нам взаимно принять более или менее боковую позицию, и научившись ходить, мы так и ковыляли бок о бок, что могло представляться требующим гораздо больших усилий, чем оно было на деле, думаю, мы походили на парочку пьяных гномов, подпиравших один другого. Во сне мы еще долго возвращались в утробную позу; но всякий раз что ее неудобство нас пробуждало, мы вновь с отвращением отвращали лица и раздражались сдвоенным ревом.

Я утверждаю, что года в три, в четыре наши тела смутно невзлюбили их неловкое сопряжение, хотя сознания и не задавались вопросом о его нормальности. Затем, прежде чем наши умы уяснили его недостатки, телесная интуиция обнаружила средства умерить их, после чего мы вообще о них не задумывались. Каждое наше движение стало сводиться к благоразумному компромиссу общего с отдельным. Рисунок действий, вызванных той или этой взаимной нуждой, образовывал своего рода серый, гладкотканый, абстрактный фон, по которому отдельный порыв, его или мой, следовал канве более яркой и резкой, но (направляемый, так сказать, изгибами основного узора) никогда не шел поперек общего плетения или же прихоти двойника.

Я сейчас говорю исключительно о нашем детстве, о поре, когда природа еще не могла позволить нам подорвать нашу с трудом завоеванную живучесть каким-то взаимным конфликтом. В поздние годы мне случалось пожалеть, что мы не погибли или не были разделены хирургически еще до того, как миновали эту начальную стадию, на которой только вечноприсущий ритм, подобный дальним ударам там-тама в джунглях общей нервной системы, и отвечал за настройку наших движений. Когда, например, один из нас почти наклонялся, чтобы сорвать цветочек, а другой именно в это миг тянулся за созревшим инжиром, персональный успех зависел от того, чье именно движение совпадало с сиюминутным биением нашего общего неуимчивого ритма, и тут же с кратким, как при виттовой пляске, содроганьем, прерванный жест одного близнеца утопал и истаявал в обогащенной им зыби завершенного жеста другого. Я говорю «обогащенной», потому что призрак несорванного цветка, казалось, тоже мрел, трепеща между пальцами, охватившими плод.

Могли проходить недели, а то и месяцы, в которые направляющее биение чаще принимало сторону Ллойда, а не мою, потом наступал черед мне оседлать гребень волны; но я не могу припомнить из нашего детства ни единого случая, когда невезение или успех по этой части возбудили бы в ком-либо из нас негодование или гордыню.

Впрочем, где-то во мне, верно, сидела чувствительная клетка, дивившаяся странной силе, вдруг относившей меня от предмета случайного вождения и тащившей к иным, нежеланным вещам, которые вталкивались в круг моей воли вместо того, чтобы ждать, пока ее усики сознательно достигнут их и оплетут. Поэтому, следя за тем или этим ребенком, следившим за Ллойдом и мной, я, помнится, решал двойную проблему: во-первых, не больше ли преимуществ в одиночной телесности, нежели в той, которой мы обладаем; и во-вторых, все ли прочие дети – одиночки. Теперь мне приходит в голову, что очень часто проблемы, которые я пытался решать, были двойными: возможно какие-то помышления Ллойда струйками проникали в мой разум, и одна из соединенных проблем принадлежала ему.

Когда алчный дедушка Ахем решил за деньги показывать нас посетителям, в валом повалившей толпе всегда находился мерзавец, желавший послушать, как мы беседуем. Как часто бывает у простоумных людей, ему требовалось, чтобы уши подтвердили то, что видят глаза. Наша родня понукала нас удовлетворять желания этого рода и никак не могла уяснить, что в них такого мучительного. Мы могли бы сослаться на застенчивость, но правда состояла в том, что мы никогда по-настоящему не говорили друг с другом, даже наедине, ибо краткое отрывистое ворчание нечастой укоризны, каким мы обменивались порой (когда, к примеру, один порежет ногу и только ее забинтуют, как другому приспичит плескаться в ручье), вряд ли могло сойти за беседу. Передачу основных простых ощущений мы осуществляли без слов: то были опавшие листья, плывшие по течению нашего общего кровотока. Мыслям пожиже тоже удавалось кое-как просочиться, и они блуждали между нами.

Те, что побогаче, каждый держал при себе, впрочем и тут случались явления странные. Вот почему я подозреваю, что Ллойд, хоть он и был от природы тише, чем я, боролся с теми же новыми сущностями, что смущали меня. Он многое забыл, когда вырос. Я не забыл ничего.

Публика не только ждала от нас разговоров, ей также было угодно, чтобы мы вместе играли. Остолопы! Их едва карачун не хватал, когда мы принимались сражаться в шашки или в «музлу». Я полагаю, что окажись мы разнополыми близнецами, они вынуждали бы нас при них предаваться кровосмесительству. Но поскольку игры друг с другом были для нас не привычнее разговоров, мы испытывали тайные муки, когда приходилось неуклюже перекидывать мяч на уровне груди или притворяться, будто мы вырываем палку один у другого. Мы срывали бурные аплодисменты, обегая кругом двор и держа руками друг друга за плечи. Мы умели подпрыгивать и кружиться.

Торговец готовыми лекарствами, плешивый малый в нечистой белой косоворотке, немало знавший по-турецки и по-английски, обучил нас нескольким фразам на этих языках; и затем пришлось демонстрировать наши таланты зачарованной публике. Те распаленные лица еще преследуют меня в ночных кошмарах, ибо они являются всякий раз, когда у постановщика моих снов возникает нужда в статистах. Я снова вижу гигантского бронзолыкого пастуха в разноцветных лохмотьях, солдат из Караца, одноглазого и горбатого армянина-портного (тоже чудище в своем роде), хихикающих девчонок, вздыхающих старух, детей, молодых людей, одетых «по-западному» – горящие глаза, белые зубы, черные раззявленные рты; и разумеется, дедушку Ахема с носом желтой слоновой кости и в серой шерстяной бороде, он правит представлением или считает засаленные бумажки, облизывая большой-пребольшой палец. Языковед, тот самый, лысый, в вышитой косоворотке, обхаживает одну из моих теток, но сквозь очки в стальной оправе с завистью поглядывает на Ахема.

К девяти годам я совершенно ясно осознал, что мы с Ллойдом – редкостные уродцы. Это знание не возбудило во мне ни особенного восторга, ни особенного стыда, но однажды истеричная стряпуха – усатая женщина, сильно влюбившая нас и сострадавшая нашей участи, – объявила со страшной божбой, что сию минуту и не сходя с этого места она нас вызовет, развалив надвое блестящим ножом, которым она вдруг замахала по воздуху (дедушка и один из наших новоприобретенных дядьев быстро ее скрутили), и после этого случая я часто утешался праздной мечтой, воображая себя неведомо как отделенным от бедного Ллойда, неведомо как оставшегося чудищем.

Происшествие с ножом не оставило во мне сильного впечатления да и как бы там ни было, тонкости разделения оставались для меня весьма туманными; но я отчетливо представлял, как тают мои оковы, и какое за этим следует ощущение легкости и наготы. Я воображал, как перелезаю ограду – с выбеленными черепами домашних скотов на кольях – и спускаюсь к берегу. Я видел, как прыгаю с камня на камень и ныряю в мерцающее море, и выбираюсь обратно на берег, и лечу вдоль него с другими голыми детьми. Мне это снилось ночами, – как я сбегая от бабушки, унося с собой игрушку или котенка, или маленького крабика, прижав его к левому боку. Во сне я встречался с несчастным Ллойдом, он ковылял, безнадежно привязанный к ковыляющему двойнику, а я привольно плясал вокруг и лупил их по согнутым спинам.

Интересно, навещали ль и Ллойда такие видения? Доктора полагали, что мы иногда сливаем во сне наши сознания. Одним голубовато-серым утром он подобрал с земли прутик и нарисовал в пыли трехмачтовый корабль. Чуть раньше, ночью, я видел, как сам рисую таковой же в пыли моего сна.

Просторная черная бурка покрывала нам плечи, и когда мы приседали на корточки, все, кроме наших голов и руки Ллойда, скрывалось в ее спадающих складках. Солнце только встало и резкий мартовский воздух стыл слоями сквозистого льда, по которым пурпурными пятнами плыло кривое иудино дерево в буйном цвету. Длинный белый дом спал за нашими спинами, наполненный жирными женщинами и их дурно пахнущими мужьями. Мы ни о чем не сговаривались, мы даже не взглянули один на другого, просто Ллойд отбросил пруток, обнял меня правой рукой за плечо, как делал, когда хотел, чтобы мы шли побыстрее, и волола среди мертвых трав край нашего общего одеяния, мы стали спускаться к берегу по дорожке, обсаженной кипарисами, и камушки потекли из-под наших ног.

То была первая наша попытка приблизиться к морю, которое виделось нам с вершины холма мягко светящимся вдали и в ленивом безмолвии бьющим о лоснистые скалы. Мне нет нужды напрягать память, чтобы связать это спотыкливое бегство с решительным поворотом в нашей судьбе. За несколько недель до того, в наш двенадцатый день рождения, дедушку Ибрахима осенила мысль отправить нас в обществе новейшего из наших дядьев в полугодовое турне по селам и деревням. Целыми днями они препирались насчет условий, ссорились и разок подрались, и Ахем победил.

Дедушку мы боялись, а дядю Новуса ненавидели. Видимо, мы на свой туповатый и жалкий манер (ничего не зная о жизни, но смутно сознавая, что дядя Новус намерен надуть дедушку), ощущали необходимость предпринять что-то, что помешает хозяину балагана таскать нас по округе в разъездной тюрьме, будто обезьян или орлов; а может быть, нас просто подталкивала мысль, что перед нами последний шанс насладиться нашей малой свободой и сделать нечто совершенно запретное – выйти за пределы некоей ограды, отворить некую калитку.

Эту хлипенькую калитку мы отворили без затруднений; но не сумели снова захлопнуть ее. Грязно-белый ягненок с янтарными глазками и карминовой меткой на жестком и плоском лбу ненадолго увязался за нами, но отстал, заблудившись в дубовой прорости. Чуть ниже, но все еще высоко над долиной нам предстояло пересечь дорогу, охлестнувшую холм и связавшую нашу усадьбу с береговым трактом. Стук копыт и скрежет колес слышались сверху, и мы повалились в кусты, бурка и все остальное. Когда грохот утих, мы перешли дорогу и стали спускаться по травянистому склону. Серебристое море потихоньку скрывалось за кипарисами и остатками старых каменных стен. Черная бурка становилась тяжелой и жаркой, но мы предпочли оставаться под ее защитой, боясь, что иначе какой-нибудь прохожий может заметить нашу немощь.

Мы вылезли на береговую дорогу в нескольких футах от звучного моря – и тут, под кипарисами, стояла в ожидании знакомая тележка, род двуколки на высоких колесах, и дядюшка Новус как раз выбирался из кузова. Каверзный, темный, нахрапистый, бесчестный человечиска! Несколькими минутами раньше он углядел нас с одной из галерей дедушкина дома и не смог одолеть искушения выгадать на нашем побеге, чудесным образом позволявшем ему завладеть нами без каких бы то ни было криков и драк. Понося двух пугливых лошадок, он грубо посадил нас в двуколку. Головы наши он затолкал пониже и пригрозил, что побьет нас, если мы попробуем пикнуть под буркой. Руки Ллойда еще лежали у меня на плечах, но колыханья повозки их скоро стряхнули. Колеса теперь похрустывали и вертелись. Прошло какое-то время, пока мы поняли, что наш возница везет нас вовсе не к дому.

Двадцать лет минуло с того серого весеннего утра, но оно сохранилось в моей памяти лучше многих последующих событий. Снова и снова я просматриваю его, словно фильмовую ленту, – подобно великим актерам, изучающим собственную игру. Подобно им, я озираю все вехи и обстоятельства, и случайные мелочи нашего прерванного побега – первоначальную дрожь, калитку, ягненка, скользкий склон под нашими косными стопами. Для вспугнутых нами скворцов мы, наверное, являли редкое зрелище – черная бурка и торчащие из нее две стриженные головки. Головки опасно вертелись туда-сюда, пока, наконец, не добрались до прибрежного тракта. Если бы в эту минуту на берег соступил с корабля, вставшего на якорь в заливе, какой-нибудь чужестранный искатель приключений, его, пожалуй, прохватил бы озноб древнего волшебства, столкнусь он среди кипарисов и белого камня лицом к лицу с кротким мифологическим чудищем. Может быть, он поклонился бы нам и пролил бы сладкие слезы. Но увы – встретить нас оказалось некому, кроме того нервного вора, нашего озабоченного похитителя, человечка с кукольным личиком в дешевых очках, одно из стекол которых было наспех подлечено пластырем.

*Итака, 1950*

## 8. СЕСТРЫ ВЭЙН

Я, верно, так и не узнал бы о смерти Цинтии, не столкнусь я той ночью с Д., след которого также утратил в последние четыре, примерно, года; а встреча с Д. не состоялась бы, не вяжись я в череду довольно пустых изысканий.

Тот день, покаянное воскресенье после недельной метели, был частью жемчужен, частью навозен. Посреди обычной моей послеполуденной прогулки по холмистому городку, притулившемуся к женскому колледжу, в котором я преподавал французскую литературу, я остановился, чтобы полюбоваться семейством бриллиантовых сосуллек, кап-кап-капающих со стрех каркасного дома. Так ясно очерчены были их заостренные тени на белых досках за ними, что я решил, будто смогу увидеть и тени слетающих капель. Но не увидел. Кровля ли слишком выдавалась вперед или может быть угол зрения оказался неверен, или, наконец, мне не удавалось поймать глазами ту сосульку, с которой срывалась та капля. В капли был ритм, переменность, дразнящая, словно фокус с монеткой. В итоге я прошел несколько кварталов, изучая угловые дома, и оказался на Келли-роуд, прямо у дома, в котором жил Д. в бытность его преподавателем здешнего колледжа. И тут, взглянув на кровлю соседнего гаража и выбрав из полного комплекта сквозистых сталактитов, подостланных синими силуэтами, один, я был, наконец, вознагражден видом того, что можно описать как точку под восклицательным знаком, покидающую привычное место, чтобы очень быстро скользнуть вниз – на долю секунды быстрее талой капли, с которой она состязалась. Этот сдвоенный посверк утешил меня, но полностью не насытил, – вернее, он лишь обострил аппетит к иным лакомым крохам света и тени, и я отправился дальше в состоянии редкой зоркости, казалось, преобразующей все мое существо в большое глазное яблоко, вращающееся во впадине мира.

Сквозь павлиные ресницы я видел слепящие алмазные отражения низкого солнца на круглой спине запаркованного автомобиля. Оттепель словно губкой омывала предметы, возвращая им живой живописный смысл. Вода наплывающими друг на друга фестонами стекала по скату улицы, изящно сворачивая в другую. Узкие пролеты между домов с их еле внятной нотой мишурного обаяния раскрывались в сокровищницы кирпича и порфира. Я впервые заметил жалкие желобки – последнее эхо ложбин на колонных столбах, – украшающие мусорный бак, и увидел еще зыбь на его крышке – круги, расходящиеся от фантастически давнего центра. Вздыбленные, темноголовые груды мертвого снега (оставленного в прошлую пятницу ножами бульдозера) выстроились, вроде недовершенных пингвинов, вдоль бордюров, над сверкливым трепетом оживленных канав.

Я шел, поднимаясь и опускаясь, шел прямиком в чинно умиравшее небо, и в конце концов, цепочка явлений, наблюденных и наблюдающих, привела меня, к часу моего обычного ужина, на улицу, так удаленную от места, где я обычно ужинаю, что я решился испробовать ресторан, стоящий на кромке города. Когда я вышел оттуда, уже без звуков и церемоний упала ночь. Долговязый призрак, продолговатая тень счетчика автостоянки отливала странной рыжиной на влажном снегу; я приписал ее смугло-красному свету ресторанной вывески над тротуаром; и именно тогда, – я медленно прохаживался, устало гадая, повезет ли мне на обратном пути настолько, чтобы встретить тот же оттенок в неоновой синеве, – именно тогда около меня с хрустом остановился автомобиль, и Д. выбрался из него с восклицаньем поддельной радости.

Он проезжал по пути из Олбани в Бостон город, в котором когда-то жил, и не впервые в жизни я испытал укол чужеродных чувств, за которым следовал приступ личного раздражения против проезжих, ничего, похоже, не ощущающих при посещении мест, в которых каждый шаг должен беречь им душу стенаниями и корчами воспоминаний. Он затолкал меня обратно в бар, только что мной оставленный, и за обменом обычными бодрыми плоскостями наступила неизбежная пустота, которую он заполнил первыми пришедшими в голову словами:

– Кстати, никогда не подумал бы, что у Цинтии Вэйн не в порядке сердце. Мой адвокат сказал, что она умерла на прошлой неделе.

рошенькой женщине, никогда ничего не узнавшей и не заподозрившей о его разрушительном романе с неуравновешенной младшей сестрой Цинтии, как и девушка эта ничего не узнала о моем разговоре с Цинтией, неожиданно вызвавшей меня в Бостон и заставившей поклясться, что я поговорю с Д. и «вышвырну» его, если он немедленно не перестанет встречаться с Сибил – или не разведется с женой (которую она, между прочим, воспринимала сквозь призму сумасбродных речей Сибил как пугало и мегеру). Я немедля припер его к стенке. Он сказал, что беспокоиться не о чем, – так и так он решил покончить с колледжем и переехать с женой в Олбани, чтобы работать в отцовской фирме; и все это дело, угрожавшее превратиться в одну из тех безнадежно запутанных историй, что тянутся годы и годы, а за ними, немного поодаль, тянутся стайки благонамеренных друзей, бесконечно обсуждающих ее с соблюдением полной секретности – и даже возводящих на чужом злополучии, как на фундаменте, здание новой близости, – дело это пришло к внезапному концу.

Помню, как на следующий день, в самый канун самоубийства Сибил, я сидел за столом, стоявшим на возвышении в большой классной комнате, где происходили зимние испытания по французской литературе. Сибил пришла на высоких каблуках, с чемоданчиком, бросила его в угол, где уже валялось несколько сумок, легко поведя худыми плечами, стряхнула с них шубку, сложив, примостила ее на чемодан и вместе с двумя-тремя девушками подошла к моему столу – узнать, когда я смогу прислать им работы с оценками. Мне потребуется неделя, считая от завтра, сказал я, чтобы все прочитать. Помню еще, я гадал, сообщил ли ей уже Д. о своем решении, и испытывал острую жалость к прилежной маленькой студентке, пока на протяжении ста пятидесяти минут мои глаза все обращались к ней, такой по-детски хрупкой в облегающем сером платье, и разглядывали старательно завитые темные волосы, мелкую шляпку с меленькими цветочками и стекловидной вуалькой, какие носили в тот сезон, и под ней – мелкое личико, на кубистский пошиб изломанное шрамами, оставленными кожной болезнью и трогательно замаскированными искусственным загаром, ужесточившим ее черты, очарованью которых она еще повредила, раскрасив все, что можно раскрасить, так что бледные десны между вишенно-красными потрескавшимися губами и разжиженная чернильная синева глаз под утемненными веками только и остались просветами в ее красоте.

Назавтра, по алфавиту разложив уродливые тетради, я погрузился в хаос почерков и преждевременно добрался до Валеvской и Вэйн, чьи тетрадки невесть почему поместил не туда, куда следовало. Рука первой приукрасилась по случаю некоторым подобием удобочитаемости, что до работы Сибил, в ней, как обычно, сочетались почерки нескольких демонов. Она начала с очень бледного, очень жесткого карандаша, заметно тиснившего чистый испод листа, но мало что оставлявшего на его лицевой стороне. По счастью, кончик карандаша скоро сломался, она продолжала писать другим грифелем, потемнее, и он мало-помалу сообщал расплывчатую полноту линиям, напоминавшим набросок углем, к которому она, муся тупой конец, добавляла следы губной помады. Ее работа, хоть и оказавшаяся еще хуже, чем я ожидал, несла все приметы своего рода отчаявшейся старательности – подчеркивань, перестановки, никчемные сноски, как если б она желала покончить дело по возможности самым добропорядочным образом. В конце она приписала, заняв у Мери Валеvской самопишущее перо: «Cette exaмаин est finie ainsi que ma vie. Adieu, jeunes filles! Пожалуйста, Monsieur le Professeur, свяжитесь с ma soeur<sup>17</sup> и скажите ей, что Смерть не лучше двойки с минусом, но определенно лучше, чем Жизнь минус Д.»

Ни минуты не тратя, я позвонил Цинтии, и она сообщила, что все кончено – все было кончено еще в восемь утра, – и попросила привезти ей записку, и когда я привез, просияла сквозь слезы в гордом восхищении тем, какое причудливое применение («Это так на нее похоже!») отыскала Сибил для экзамена по французской литературе. Она миглом соорудила два хайболла, не расставаясь с тетрадкой Сибил, – уже обрызганной содовой и слезами, – и продолжала изучать предсмертное послание, что побудило меня указать ей на имеющиеся в нем грамматические ошибки и объяснить, как приходится переводить в американских кол-

<sup>17</sup> Экзамен кончается и с ним моя жизнь. Прожайте, девушки в цвету! Пожалуйста, мсье профессор, свяжитесь с моей сестрой... (фр.)

леджах слово «девушка», дабы не заставляя студентов слепо толочься вокруг французского эквивалента «девки», а то и чего похуже. Это довольно безвкусное суесловие доставляло Цинтии огромное удовольствие, когда она, задыхаясь, выныривала из-под вздувающейся поверхности горя. А затем, держа мягкую тетрадку так, словно та была пропуском в нечаянный Элизиум (где карандаши не ломаются, а мечтательная молодая красавица с безукоризненной кожей навивает локон на мечтательный пальчик, размышляя над какой-то небесной экзаменационной работой), Цинтия повела меня наверх, в мозгловатую спальню, просто чтобы показать мне, как если б я был полицейским или участливым соседом-ирландцем, два пустых пузырька от таблеток и скомканную постель, откуда уже убрали нежное, ненужное тело, которое Д., должно быть, знал до последней бархатной малости.

### 3

Через четыре, примерно, месяца после смерти ее сестры, я стал довольно часто видеться с Цинтией. Ко времени, когда я приехал в Нью-Йорк ради кое-каких каникулярных исследований в Публичной библиотеке, она также перебралась в этот город и там по какой-то чудной причине (находившейся, полагаю, в неопределенной связи с ее артистическими устремлениями) сняла в самых низших разрядах шкалы городских поперечных улиц то, что люди, не ведающие гусиной кожи, называют «квартирой без горячей воды». Меня привлекали в Цинтии не повадки, которые я находил отталкивающе жизнерадостными, и не внешность, иным мужчинам казавшаяся сногшибательной. У нее были широко посаженные глаза, очень похожие на сестрины, – открытой, отчаянной синевы, с радиально расставленными темными точками. Промежуток между густых черных бровей вечно лоснился, как лоснились и мясистые закрутки ноздрей. Грубая ткань кожи казалась почти мужской, и в ослепительном ламповом свете ее мастерской различались поры на тридцатидвухлетнем лице, которое тарашилось на вас так, словно оно принадлежало какой-то аквариумной твари. Косметикой Цинтия пользовалась так же рьяно, как и меньшая сестра, но с добавочной неопрятностью, так что помада частью оседала на крупных передних зубах. Она была симпатично смугла, носила не слишком безвкусную смесь довольно казистых разнородных одежд и обладала так называемой хорошей фигурой; но все в ней было на удивление неряшливо и отзывалось во мне смутными ассоциациями с левыми восторгами в политике и «передовыми» банальностями в искусстве, хотя на деле ее не увлекали ни те, ни другие. Волосы, завитые, разделенные пробором и собранные в пучок, производили бы странно похоронное впечатление, если бы не поросшая мягким домашним пушком беззащитная шея. Ногти были кричаще покрашены, но обкусаны и нечисты. В любовниках у нее состояли молодой бессловесный фотограф с внезапным смешком и двое мужчин постарше, братья, владевшие маленькой печатней по другую сторону улицы. Я дивился их вкусам всякий раз что с тайным содроганием замечал спутанную штриховку темных волос, которая с ученой четкостью придавленного стеклом препарата проступала на бледных голених под нейлоном чулок; или ощущая при каждом ее движении вяловатый, хлевный, не особенно явственный, но вездесущий и угнетающий запах, источаемый из-под выдохшихся духов и помад ее редко омываемой плотью.

Ее отец спустил большую часть весьма приличного семейного состояния, в жилах первого мужа матери текла славянская кровь, но в прочем Цинтия Вэйн принадлежала к хорошей, почтенной семье. Насколько известно, род ее восходил к королям и волхвам, ко мгле островов, лежащих на самом краю земли. Перенесенные в мир поновее, в ландшафт обреченных на гибель, прекрасных, роняющих листья деревьев, пращуров ее поначалу составляли лишь горстку фермеров, белую церковку, оттененную черной грозой, а после – внушительную толпу горожан, погруженных в меркантильные домогательства, давших, впрочем, и немало ученых людей, таких как доктор Джонатан Вэйн (1780–1839), человек сухопарый и скучный, погибший при пожаре на пароходе «Лексингтон» и ставший впоследствии завсегдаем вертлявого столика Цинтии. Меня всегда подмывало поставить генеалогию на голову и тут я имею возможность проделать это, ибо лишь последний из отпрысков рода, Цинтия и одна только Цинтия, сообщала династии Вэйнов хоть какую-то значимость. Я ра-

зумею, конечно, ее артистический дар, ее пленительные, радостные, но не очень известные полотна, от случая к случаю покупавшиеся друзьями ее друзей, – мне бы очень хотелось узнать, куда подевались теперь, когда она умерла, те правдивые, поэтичные картины, что озаряли ее гостиную, – волшебные подробные изображения металлических предметов и мой любимый «Вид сквозь ветровое стекло» – местами покрытое изморозью, со сверкающей струйкой (стекающей с воображаемой крыши машины) поперек еще прозрачной части, и за всем этим – сапфировое пламя небес и зеленая с белым ель.

## 4

Цинтии казалось, что покойная сестра на нее сердита, – ибо уже обнаружила, что мы с Цинтией составили заговор с целью разрушить ее роман; и потому, желая обезоружить ее, Цинтия прибегнула к жертвенным приношениям довольно примитивного свойства (куда, впрочем, примешалось нечто от юмора, свойственного Сибил) и принялась через нарочито неправильные промежутки времени посылать на служебный адрес Д. разные пустяки – сделанные при плохом освещении снимки могилы Сибил, отрезанные пряди своих волос, неотличимых от сестриных, разрезную карту Новой Англии с чернильным крестиком на полпути между двумя целомудренными городками, отмечающим место, где Д. и Сибил остановились двадцать третьего октября, среди бела дня, в снисходительном мотеле под сенью краснобурого леса; и дважды – чучела скунсов.

Говорунья скорей многословная, чем обстоятельная, она никак не могла описать во всей полноте теорию вмешательства аур, неведомо как ею разработанную. Ничего особенно нового в основаниях ее личных верований не содержалось, поскольку они предполагали вполне заурядную потусторонность, безмолвный соляриум бессмертных духов (сшитый внакрой со смертным предместьем), главное развлечение которых состояло в том, чтобы периодически виснуть над душой у здравствующих друзей. Интерес представлял удивительный практический выверт, сообщаемый Цинтией ее ручной метафизике. Она питала уверенность, что на ее существование влияет множество мертвых друзей, каждый из которых по очереди правит ее судьбой, совершенно так же, как если б она была беспризорным котенком, которого походя подбирает школьница и прижимает к щеке, и вновь осторожно спускает на землю у какой-нибудь пригородной ограды, – а там его гладит новый прохожий или уносит в страну дверей радушная женщина.

На несколько часов или на несколько дней – кряду или неправильной чередой возвратов, растянутой на месяцы, а то и годы – все, что случалось с Цинтией после смерти определенного человека, приобретало, как уверяла она, его настроение и повадку. Событие могло оказаться чрезвычайным, переменяющим целую жизнь, – или цепочкой пустых происшествий, едва проступавших на фоне обычного дня, а затем выцветавших в еще менее уловимые пустяки по мере обветшания ауры. Влияние могло оказаться добрым или дурным, важнее всего было то, что для него отыскивался источник. Она говорила, что это похоже на прогулку по душе человека. Я пробовал возражать, говоря, что не всегда же ей может даваться определение источника, потому что не всякий обладает различимой душой; что существуют анонимные письма и рождественские подарки, которые может прислать кто угодно; что в сущности и «обычный день», как она его называет, сам может быть слабым раствором перемешанных аур или временем, когда на дежурство заступает неинтересный ангел-хранитель. И как насчет Бога? Люди, которые на земле с возмущением отвергнут любого всевластного диктатора, не ищут ли себе такого же в небесах? А войны? Что за жуткая мысль, – о мертвых солдатах, продолжающих биться с живыми, или об армиях призраков, норовящих одолеть одна другую, вторгаясь в жизни парализованных стариков.

Но Цинтия оставалась недостижимой для обобщений, так же как и для логики. «А, это Поль», – говорила она, когда перекипал и принимался плевать суп, или: «Не иначе, как Бетти Браун померла, добрая душа», – когда выигрывала в благотворительной лотерее очень хороший и действительно нужный ей пылесос. И с джеймсовыми отступлениями, озлоблявшими мой французский рассудок, она углублялась в те времена, когда Бетти и Поль еще не ушли из жизни, и рассказывала об обильных и исполненных лучших намерений, но со-

вершенно неприемлемых подарках, начиная со старого кошелька с чеком на три доллара внутри, который она подняла на улице и, конечно, вернула (упомянутой Бетти Браун, – это первое ее появление, – увечной цветной женщине, едва способной ходить), и кончая оскорбительным предложением ее старого ухажера (появляется Поль) нарисовать за разумное вознаграждение «взаправдашные» изображения его семейства и дома, – все это последовало за кончиной некой миссис Пейдж, доброй, но ограниченной старушки, с самого детства Цинтии изводившей ее житейскими наставлениями.

Личность Сибил, говорила она, по краям была радужной, как будто немного не в фокусе. Она говорила, что, знай я Сибил получше, я сразу бы понял, насколько сибилородна аура мелких событий, которые после самоубийства сестры словно накатывая одно за другим заполнили ее, Цинтии, жизнь. Еще с той поры, как они остались без матери, им хотелось избавиться от дома в Бостоне и перебраться в Нью-Йорк, где, как они полагали, картины Цинтии найдут более широкое признание; но старый дом цеплялся за них всеми плюшевыми щупальцами. Умершая Сибил, однако ж, принялась отдирать дом от его окружения, что роковым образом сказалось на чувстве, которое он внушал. Прямо через узкую улицу народилось громогласное, уродливое, все в помостях строение. Чета привычных тополей погибла той весной, обратясь в белесые скелеты. Явились рабочие и взломали прекрасную, старую, теплых тонов мостовую, приобретающую влажными апрельскими днями особый фиалковый отсвет и так памятно отзывавшуюся на утренние шаги направлявшегося в музей мистера Левера, который, в шестьдесят удалившись от дел, целую четверть века посвятил исключительно изучению улиток.

Кстати о стариках, – тут стоит добавить, что порой такие посмертные знамения и вмешательства отзывались пародией. Цинтия дружила с чудаковатым библиотекарем по имени Порлок, который в последние годы своей пыльной жизни обшаривал старые книги в поисках чудотворных опечаток, таких, например, как замена второй «h» в слове «hither»<sup>18</sup> на «l». Его, в противность Цинтии, туманные пророчества не волновали, – ему нужен был сам уродец, выдурь в обличии выбора, порок, глядящий пророком; и Цинтия, куда более извращенная любительница ошибочно или незаконно соединенных слов, каламбуров, логогрифов и прочего, помогала старому маниаку в розысках, которые в свете приведенного ею примера поразили меня как статистически несосветимые. Как бы там ни было, рассказывала она, на третий день после его смерти она читала журнал и как раз натолкнулась на цитату из бессмертной поэмы (которую она, вместе с иными доверчивыми читателями, почитала и в самом деле сочиненной во сне), когда ее осенило, что «Alph» – это пророческая череда начальных букв имени «Анна Ливия Плюрабель» (еще один священный поток, бегущий сквозь или вернее вокруг еще одного поддельного сна), причем добавочное «h» скромно обозначает – вроде частного указателя – то самое слово, что так завораживало бедного мистера Порлока. Жаль, что мне никак не удастся припомнить того романа или рассказа (по-моему, кого-то из современных писателей), в котором первые буквы слов в последнем абзаце без ведома автора образуют, как обнаружила Цинтия, восточку от его покойницы-матери.

## 5

С сожалением должен отметить, что не довольствуясь этими изящными выдумками, Цинтия выказывала смешную привязанность к спиритизму. Я избегал ходить с нею на сиделки с участием платных медиумов, слишком много зная о них из других источников. Я согласился, впрочем, присутствовать на маленьких фарсах, на скорую руку разыгрываемых Цинтией и двумя ее друзьями, непроницаемыми джентльменами из печатного заведения. То были приземистые, вежливые, пожилые мужички, производившие жутковатое впечатление, но я уверил себя, что обоим присущи незаурядные ум и культура. Мы усаживались за легкий столик и едва успевали уложить на него кончики пальцев, как он принимался трястись и потрескивать. Я имел удовольствие общаться с самыми разными духами, которые с вели-

<sup>18</sup> Сюда, ближайший во времени (англ.)

чайшей готовностью отстукивали свои сообщения, впрочем отказываясь прояснить то, что мне не удавалось вполне разобрать. Являлся Оскар Уайльд и на беглом и сорном французском с обычными англицизмами темно обвинял покойных родителей Цинтии в чем-то, приобретшем в моей записи вид «плагиатизма». Напористый призрак снабдил нас непрошенными сведениями о том, что он, Джон Мур, и брат его Билл были шахтерами в Колорадо и погибли в завале на «Коронованной Красотке» в январе 1883-го года. Фредерик Майерс, тертый калач, отбарабанил стишок (странно напомнивший собственные творения Цинтии, сочиняемые ею по разным случаям), в частности, в моих заметках содержится следующее:

Надувательство иль точно  
Свет? – Изъяна не лишен,  
Он исправит нрав порочный  
И развеет скорбный сон.

Наконец, с великим стуком и разнообразными потрясениями и переплясами стола наше скромное общество посетил Лев Толстой и, в ответ на просьбу удостоверить себя описанием каких-либо подробностей его земного жилища, пустился в сложное описание чего-то, видимо, бывшего образцом русского деревянного зодчества («фигуры на досках – мужик, лошадь, петух, мужик, лошадь, петух»), – все это было тяжело записать, трудновато понять и невозможно проверить.

Я участвовал еще в двух или в трех заседаниях, и они оказались даже глупее, должен однако признаться, что я предпочитал доставляемое ими ребяческое развлечение и сидр, который мы на них пили (Пончик и Пеньчик в рот не брали спиртного), ужасным домашним приемам Цинтии.

Она устраивала их по соседству, в симпатичной квартире Уилеров, – выдумка, милая ее центробежной натуре, да к тому же собственная ее гостиная всегда походила на замызанную старую палитру. Следуя варварскому, негигиеничному, прелюбодейскому обычаю, тихий, лысоватый Боб Уилер стаскивал еще тепленькие снутри гостевые пальто в опрятное святилище спальни и кучей валил их на супружескую кровать. Он же смешивал напитки, разносимые молодым фотографом, пока Цинтия с миссис Уилер готовили бутерброды.

Припозднившийся гость попадал в толпу громогласных людей, бессмысленно скупченных в синевато-дымном пространстве меж двух зеркал, обожравшихся отражений. Поскольку Цинтия, как я понимаю, желала оставаться самой молодой из присутствующих, возраст женщин, приглашаемых ею, замужних и одиноких, исчислялся в лучшем случае сомнительными сорока; некоторые из них привозили из дому в темных такси нетронутые остатки красоты, которые, впрочем, утрачивались по мере развития вечеринки. Что меня всегда поражало, так это способность заядлых воскресных бражников находить почти сразу – методом чисто эмпирическим, но очень точным – общий знаменатель опьянения, которого всякий из них старательно придерживался прежде чем опуститься, всем сразу, на следующий уровень. Сочное дружелюбие матрон окрашивалось в мальчишеские тона, а застылые, вовнутрь обращенные взгляды благодушно надрызгавшихся мужчин отдавали святотатственной пародией на беременность. Хотя кое-кто из гостей имел то или иное отношение к искусству, здесь не бывало ни вдохновенных бесед, ни подпертых ладонями и увитых венками голов, ни, разумеется, дев-флейтисток. Занимая удобный наблюдательный пост где-нибудь на бледном ковре, на котором она, в позе выбравшейся на отмель русалки, сидела с одним-двумя мужчинами помоложе, Цинтия, с лицом, глянцево-блестящим от пленки лучистого пота, привставала на колени и, протянув руку с блюдцем, полным орехов, твердо стучала другой по мускулистой ноге Кочрана или Коркорана, торговца картинами, угнездившегося на жемчужно-серой тахте между двух заалевших, радостно растрепанных дам.

На поздней стадии вечеринки случались взрывы более разгульного веселья. Коркоран или Коранский цапал Цинтию или иную проходившую мимо даму за плечо, уволакивал ее в уголок, и там, похохатывая, обрушивал на нее смесь самодельных шуточек и слухов. Погода она вырывалась, трясая головой и смеясь. А еще позже наступала пора братания полов, шутивных примирений, голой мясистой руки, обвивавшей чужого мужа (что стоял навтыжку посредине плывущей комнаты), или внезапной вспышки кокетливого гнева, или неуклюжих

приставаний, – и тихой полуулыбки Боба Уилера, подбирившего стаканы, которые, словно грибы, прорастали под сенью кресел.

После одной такой вечеринки я написал Цинтии совершенно безобидное и в целом благонамеренное письмо, содержащее латинскую шутку по адресу кое-кого из ее гостей. Я также извинился за то, что не притронулся к ее виски, пояснив, что будучи французом, предпочитаю виноград ячменю. Несколько дней спустя, на ступенях Публичной библиотеки, я повстречал ее, раскрывавшую зонт в раздробленном солнечном свете, под слабыми брызгами из случайного облака, и боровшуюся с четой зажатых подмышкой книг (от которых я ее ненадолго избавил), – «Шаги на границе Мира Иного» Роберта Дейла Оуэна и что-то насчет «Спиритизма и христианства»; и вдруг, безо всякого повода с моей стороны, она обрушилась на меня с грубой горячностью и в ядовитых выражениях объявила – сквозь грушевидные капли редкого дождичка, – что я сноб и педант, что я вижу в людях одни только жесты и маски, что Коркоран спас в двух океанах двух утопающих, – по неуместному совпадению оба звались Коркоранами, – что маленькая дочка горластой и хриплой Джован Уинтер обречена совершенно ослепнуть через несколько месяцев, и что женщина в зеленом и с веснушчатой грудью, относительно которой я как-то там непочтительно высказался, написала в 1932-м году национальный бестселлер. Непостижимая Цинтия! Мне говорили, что она бывает неожиданно и страшно груба с людьми, которых уважает и любит, но всему должна быть граница, и поскольку я к тому времени достаточно изучил ее интересные ауры и прочие виды и иды, я решил насовсем раззнакомиться с ней.

## 6

В тот вечер, когда Д. сказал мне о смерти Цинтии, я лишь около полуночи вернулся в двухэтажный дом, который делил, по горизонтали, с вдовой отставного профессора. Достигнув крыльца, я с опасливостью одиночки обозрел две разновидности темноты в двух шеренгах окон: темноты отсутствия и темноты сна.

С первой я еще мог что-то поделать, но воспроизвести вторую оказалось мне не по силам. Кровать не давала ощущения безопасности, ее пружины лишь заставляли вздрагивать мои нервы. Я нырнул в шекспировские сонеты – и вскоре заметил, что идиотически перебираю первые буквы их строк, пытаюсь понять, какие сакраментальные слова можно из них сложить. Я отыскал FATE<sup>19</sup> Получился РОК (LXXXV), АТОМ (XCXXVIII) и дважды ТАFT дали (LXXXVIII, CXXXIILIII). Время от времени я озирался, дабы выяснить, что поделывают вещи в комнате. Странно подумать, если вдруг повалятся бомбы, я испытаю немногим больше, чем возбуждение игрока (с немалой примесью простецкого облегчения), но при этом сердце мое едва не выпрыгивает из груди, стоит какому-то подозрительно напряженному на вид пузырьку вон на той полке на долю дюйма сдвинуться вбок. Тишина тоже была подозрительно плотной, как бы намеренно образующей черный задник для нервных подскоков, вызываемых всяким мелким звуком неведомого происхождения. Движение стихло. Тщетно я молился, чтобы по Перкинс-стрит простонал грузовик. Женщина сверху, доводящая меня до безумия ухающим топом, казалось, порождаемым каменноногим чудовищем (на деле, в дневном существовании, она была унылым и утлым созданием, похожим на мумию морской свинки), теперь заслужила бы мое благословение, если бы потащилась в уборную. Выключив свет, я несколько раз прокашлялся, дабы было кому ответить хотя бы за этот звук. Я мысленно уцепился за далекий автомобиль, но он стряхнул меня раньше, чем мне удалось задремать. Наконец в корзине для бумаг занялось и затихло легкое шебуршение (вызванное, как я надеялся, оторванным и смятым листком бумаги, раскрывающимся словно убогий, упорный ночной цветок), – и столик при постели отозвался тихим щелчком. Вполне в духе Цинтии было б затеять прямо сейчас дешевое представление на манер полтергейста.

Я решил сразиться с Цинтией. Мысленно я обозрел современную эру перестуков и призраков, начиная с колотьбы 1848-го года в деревушке Хайдесвилль, штат Нью-Йорк, и кончая гротесками в Кембридже, Массачусетс; я припомнил щиколотки и иные анатомиче-

<sup>19</sup> Рок, судьба (англ.)

ские кастаньеты сестер Фокс (описанные в сказаниях Университета Буффало); таинственную одинаковость нежных подростков в холодном Эпворте или Тедворте, излучающих такие же помехи, как в древнем Перу; торжественные викторианские оргии с ниспадающими розами, с аккордеонами, растянутыми силой священной музыки; профессиональных шарлатанов, отрыгивающих мокрую марлю; мистера Дункана, достойного мужа женщины-медиума, который, когда его попросили позволить себя обыскать, отказал на том основании, что у него испачканное исподнее; старого Альфреда Русселя Уоллеса, наивного натуралиста, не желающего поверить, что белая фигура, стоящая перед ним босиком и без дырок в мочках ушей посреди частного пандемониума в Бостоне, вполне может быть чопорной мисс Кук, которую он только что видел спящей за занавеской в ее углу всю в черном, в зашнурованных башмаках и при сережках; еще двух исследователей, маленьких, щуплых, но достаточно толковых и предприимчивых, руками и ногами вцепившихся в Эузапию, женщину крупную, дебелую, немолодую, провонявшую чесноком и все же сумевшую их облапошить; и скептического, смущенного фокусника, которого «контролер» очаровательной юной Марджери наставляет, чтобы он не плутал в складках халата, а продвигался левым чулком вверх, пока не достигнет голого бедра, – на теплой коже которого он обнаружил «телепластическую» массу, наощупь чрезвычайно схожую с холодной сырой печенкой.

## 7

Я воззвал к плоти и к растленности плоти, дабы оспорить и обороть возможную инерцию жизни бесплотной. Увы, эти заклинания лишь обострили мой страх перед призраком Цинтии. Заря принесла атавистическое упокоение, и когда я скользнул в сон, солнце сквозь коричневые оконные шторы проникло в мои сновидения, и их почему-то заполнила Цинтия.

Сны разочаровали меня. Безопасно укрытый в твердыне дневного света, я говорил себе, что ожидал большего. Она, живописец ярких, словно стекло, деталей, – и вдруг такая невнятица! Лежа в постели, я обдумывал мой сон и прислушивался к воробьям за окном: кто знает, если их записать, а потом прокрутить назад, не обернется ли звучание птиц человеческой речью, произнесением слов, точно так, как последние, если их обратить, превращаются в щебет? Я принялся перечитывать сон – вспять, по диагонали, вверх, вниз, – пытаюсь открыть в нем хоть что-то схожее с Цинтией, что-то причудливое, намекающее на мысль, которая должна же в нем содержаться.

**С** ознание **в** ыпутывало **е** диничные, темные **и** л укаво **е** мкие д етали. **К** азалось, **и** счезающий **с** мысл **т** уманных **и** злияний **Ц** интии, **и** зменчивой **н** абожности, **т** омной **и** зысканности **и** скусственных **а** кростихов **с** мазывался **ч** ем-то **е** дучим, **т** усклым, **ч** ужим **и** к орявым. **В** се **а** укалось, **м** ельтешило, **о** блекалось **т** уманом, **м** рело **е** ле **н** амеченной **я** вью, – **с** мутное, **и** знуренное, **б** естолково **и** страченное, **л** ишнее.

*Итака, 1951*

## 9. ЛАНС

## 1

Имя планеты (если она его уже получила) значения не имеет. При самом великом противостоянии ее может отделять от Земли столько же миль, сколько прошло лет от прошлой пятницы до воздвижения Гималаев, – в миллион раз больше среднего возраста читателя. В телескопическом поле чьей-то фантазии, сквозь призму чьих-либо слез какие угодно ее отличия поразили б не больше особенностей, присущих реальным планетам. Розовый шар, мрамористый от сумрачных пятен, одно из бесчисленных тел, прилежно кружащих в бесконечном и беспричинном величии жидкого космоса.

Положим, что *magia* (отнюдь не моря) на моей планете, как равно и *Iacus* (отнюдь не озера), тоже обрели имена; и может быть, иные из них не так унылы, как у садовых роз,

другие же бессмысленнее фамилий их нарицателей (ибо, обратимся к реальности, астроном по фамилии Землесветов – диво не меньшее, чем энтомолог Гусеницын); но большей частью их имена до того архаичны, что выспрненным и темным очарованием могли бы поспорить с прозваниями земель из рыцарских романов.

Точно так, как наш Сосновый Дол, там, внизу, мало чем способен похвастать, кроме обувного заводика по одну сторону шоссе и ржавого ада автомобильного кладбища по другую, точно так и все эти Аркадии, Икарии и Зефирии с планетарных карт вполне могут оказаться мертвыми пустырями, лишенными и молочая, украшения наших свалок. Селенографы это вам подтвердят, ну да у них и линзы получше наших. В данном случае, чем сильнее увеличение, тем более крапчатой выглядит поверхность планеты, как если б ныряльщик смотрел на нее сквозь полупрозрачную воду. А если кое-какие соединенные оспины вдруг отзовутся узором линий и лунок с доски для китайских шашек, будем считать их геометрической галлюцинацией.

Я не только отказываю слишком определенной планете в какой-либо роли в моем рассказе – роли, какую играет в нем любая из точек (я его вижу как род звездной карты), – я также отказываюсь иметь какое угодно дело с техническими пророчествами из тех, что изрекают ученые – по уверениям репортеров. Этот ракетный рэкет не для меня. Не для меня обещанные Земле маленькие искусственные спутники, взлетные полосы звездных колоссов («пространщиков») – одна, две, три, четыре, а там и тысячи летающих крепостей с припасами и камбузами, воздвигнутых народами Земли в остервенении соревновательной гонки, поддельной гравитации и свирепых хлопающих флагов.

Вот еще в чем я решительно не вижу проку, так это в возне со специальной оснасткой – герметическими скафандрами, кислородными аппаратами – всем этим скарбом. Подобно старому мистеру Боке, с которым мы вот-вот познакомимся, я с недюжинной изощренностью увливаю от этих практических материй (так или иначе обреченных иметь нелепо непрактический вид в глазах будущих космических путешественников, таких как единственный сын старика Боке), поскольку чувства, пробуждаемые во мне разного рода приспособлениями, простираются от унылого недоверия до нездоровой дрожи. Лишь героическим усилием воли я заставляю себя выкрутить умершую необъяснимой смертью лампочку и ввернуть другую, которая с мерзкой внезапностью драконьего яйца, выношенного в ладони, вспыхивает мне прямо в лицо.

И наконец, я вполне презираю и отвергаю так называемую «научную фантастику». Я заглянул в нее и нашел, что она так же скучна, как детективные журналы, – то же унылое письмо, беспросветные диалоги и обилие безликого юмора. Клише, разумеется, подгримированы, но в сущности, они одинаковы во всяком дешевом чтиве, где бы ни разворачивался сюжет – в космосе или в гостиной. Они подобны тем «печеньям-ассорти», отличающимся только формой и цветом, какими лукавые фабрикатеры увлекают глотающего слюну потребителя в безумный павловский мир, где вариации простых зрительных возбудителей без особых затрат изменяют и постепенно заменяют собою вкус, отправляя его следом за талантом и истиной.

И потому ухмыляются славные малые, глумливо щерятся негодяи и чешут на сленге обладатели честных сердец. Галактические калифы, астрономические сатрапы – все они лишь подобия бойких рыжих трудяг с самой что ни на есть земной работенкой, чьи улыбочивые морщины иллюстрируют человеческое содержание рассказиков из валяющихся по парикмахерским захватанных журнальчиков. Завоеватели Спика или Денеба, знаменитые сыщики с Девы носят фамилии, начинающиеся на Мак, бесстрастные ученые – непременно Штейны, впрочем, иные из них разделяют с девицами из соседней супергалактики такие абстрактные ярлыки, как Биола или Вэла. Обитатели чуждых планет, «разумные» существа гуманоидной либо мифической выделки, обладают одной примечательной общей чертой: интимное их устройство не описывается никогда. Из высокой приверженности правилам хорошего двуногого тона кентавры не просто носят набедренные повязки, – они их носят на передних ногах.

Пожалуй, этим процесс исключения можно и завершить, – разве что кто-то захочет обсудить проблему времени? И в этом случае я, ради того, чтобы сосредоточиться на фигуре молодого Эмери Л. Боке, моего более или менее отдаленного потомка, которому предстоит

участие в первой межпланетной экспедиции (что, в сущности говоря, и является единственным скромным допущением моей истории), с радостью передаю право замены претенциозной двойкой или тройкой честной единицы нашего «тысяча девятьсот...» в умелые лапы «Старзана» или иного героя комиксов и атомиксов. Пусть будет 2145 после РХ<sup>20</sup> г.н. э. или 200-й после РА<sup>21</sup> – мне дела нет. Я ни на чьи законные права посягать не намерен. Исполнение у нас чисто любительское – сборный реквизит, минимум декораций и останки издохшего дикобраза в углу старой риги. Мы все здесь друзья – Брауны, Бэнсоны, Вайты и Вильсоны, – и вышедший покурить слышит сверчков и собаку с далекой фермы (полает-полает и ждет, и слушает то, чего мы услышать не можем). Летнее небо в беспорядочных звездах. Эмери Ланселот Боке, двадцати одного года, знает о них неизмеримо больше, чем я, пятидесятилетний, испуганный.

## 2

Ланс высок, худощав, у него мощные сухожилия, зеленоватые вены на загорелых предплечьях и шрам на лбу. Когда он ничем не занят, когда неловко сидит, как сидит сейчас, наклонясь, на краешке низкого кресла, ссутулясь и упираясь локтями в большие колени, он привычно сжимает и разжимает красивые руки, – жест, который я для него позаимствовал у одного его пращура. Выражение серьезности, неуютной сосредоточенности (мышление вообще неуютно, у молодых в особенности) – вот обычное его выражение; впрочем, в настоящую минуту это скорее маска, скрывающая яростную потребность стряхнуть затянувшееся напряжение. Как правило, улыбается он нечасто, да к тому же «улыбка» – слишком гладкое слово для живого и резкого искажения черт, от которого сейчас вдруг освещаются его рот и глаза, чуть приподымаются плечи, сжавшись, застывают подвижные руки и нога легко ударяет в пол. В комнате с ним родители и случайный гость, докучливый дурень, не сознающий, что происходит в печальном доме, – ибо трудную минуту переживает дом в канун баснословного отбытия.

Проходит час. Наконец, гость подбирает с ковра цилиндр и уходит. Ланс остается с родителями наедине, но от этого напряжение лишь возрастает. Мистера Боке я вижу довольно отчетливо. Но как глубоко ни погружаюсь я в мой трудный транс, мне не удается представить миссис Боке хотя бы с какой-то ясностью. Я понимаю, что она сохраняет веселость – пустяковые речи, быстрый трепет ресниц – не столько для сына, сколько для мужа, для его стареющего сердца, и старый Боке слишком хорошо это знает, ему приходится к собственной страшной тревоге сносить еще и ее натужную беззаботность, и последняя раздражает его сильнее, чем раздражала бы полная и безоговорочная прострация. Все-таки неприятно, что я не могу различить ее черт. Мне только и удалось уловить тающий отблеск света в дымчатых волосах, да и тут я подозреваю вкрадчивое влияние заурядной художественности нынешней фотографии насколько все-таки легче было писателю в прежние дни, когда воображение не обрамляли бесчисленные видовые пособия, и колонист, глядящий на первый в его жизни гигантский кактус или первую снеговую вершину, не обязательно приводил на ум рекламное объявление производителя автомобильных покрышек.

Что касается мистера Боке, то я, как выясняется, манипулирую чертами старого профессора истории, блестящего медиевиста, чьи белые баки, розовая плешь и черный костюм хорошо известны в одном солнечном кампусе далеко на юге, впрочем, единственное, что он привнес в эту историю (оставляя в стороне легкое сходство с моим давно покойным двоюродным дедом) – это свою допотопную внешность. Вообще говоря, если быть совсем уже честным с собой, нет ничего необычного в попытке придать повадкам и одеждам отдаленного дня (которому выпало попасть в будущее) оттенок старомодности, что-то такое плохо отглаженное, запущенное, запыленное, поскольку слова «допотопный», «не нашего времени» и подобные им в конечном счете одни только и способны выразить и отразить ту

<sup>20</sup> Рождества Христова

<sup>21</sup> Пришествия антихриста

странность, которой никакие исследования предугадать не могут. Будущее – это всего лишь прошлое, видимое с другого конца.

В этой обветшалой комнате, в желтоватом свете лампы, Ланс произносит последние слова. Недавно он вывез из Анд, из глухого угла, где взбирался на какой-то еще безымянный пик, двух молодых шиншилл, пепельно-серых, ужасно пушистых грызунов величиною с кролика (*Hustricomorpha* – «дожделюбивые»), с длинными усиками, округлыми гузнами и с ушами, похожими на лепестки. Он держит их в доме, в загончике из металлической сетки, и кормит каштанами, пареным рисом, изюмом и – в виде особого лакомства – фиалками или астрами. Он надеется, что осенью они принесут потомство. Теперь он повторяет для матери несколько важных наставлений – следить, чтобы корм у малышей был свеж, а загончик чист, и никогда не забывать о вечернем купании в пыли – в смеси мелкого песка с толченым мелом, по которой они кувыркаются и скачут с особой охотой. Пока тянется эта беседа, мистер Боке раскуривает и снова раскуривает, и в конце концов откладывает трубку. Время от времени, старик, с поддельным выражением благодушной рассеянности, производит кое-какие перемещения и звуки, которые никого не обманывают; он прочищает горло, плетется, сложив за спиной руки, к окну или, не раскрывая рта, принимается мурлыкать что-то немелодичное и, видимо, увлекаемый этим носовым моторчиком, удаляется из гостиной. Но едва он сходит со сцены, как рушится, жутко его сотрясая, продуманная постройка тонкого, замысловатого притворства. В спальне или в ванной он останавливается, словно бы для того, чтобы в жалком одиночестве глотнуть из какой-то припрятанной фляжки, и опять ковыляет назад, пьяный от горя.

Когда он тихо возвращается на сцену, застегивая сюртук и вновь принимаясь мурлыкать, там все остается по-прежнему. Счет теперь идет на минуты. Перед уходом Ланс навещает загончик и оставляет Шина и Шиллу, сидящими на корточках, держа в лапках по цветку. Единственное, что я еще знаю об этих последних минутах, – это что фразы вроде «Ты точно взял шелковую рубашку, ее вчера вернули из прачечной?» или «А где лежат новые шлепанцы ты помнишь?» – исключаются совершенно. Что бы ни брал с собою Ланс, все уже сложено в таинственном, неизъяснимом и совершенно жутком месте, из которого он отбудет при нулевом отсчете времени; ни в чем из нужного нам он не нуждается; налегке, не покрыв головы, он выходит из дому с небрежной легкостью человека, идущего к киоску с газетами – или к славе, ждущей на эшафоте.

### 3

Земной простор предпочитает прятать. Самое большее, чем делится он со взглядом – это панорамический вид. Горизонт смыкается за уменьшающимся пешеходом, как опускающаяся дверь в замедленной съемке. Для тех, кто остался, город, лежащий от них на расстоянии дневного пути, незрим, при том, что они свободно видят, скажем, лунный амфитеатр и тень, отброшенную его круглой короной. Фокусник, показывающий небесную твердь, работает повернув рукава, на глазах у маленьких зрителей. Планеты могут скрываться из виду (так затемняет предметы расплывчатое скругление скулы), но они возвращаются, стоит Земле обернуться. Ланс улетел, и уязвимость его молодого тела растет в прямом отношении к пространству, которое он покрывает. Старики Боке смотрят с балкона на бесконечно опасное ночное небо и жгуче завидуют доле рыбацких жен.

Если источники Боке достоверны, «Lanceloz del Lac», сиречь «Ланселот Озерный», впервые встречается в «Roman de la charrete»<sup>22</sup>, двенадцатый век, стих 3676-й. Ланс, Ланселлин, Ланселотик – прошелестевшие над люлькой ласкательные имена, соленые, влажные звезды. Юные рыцари учатся, подрастая, игре на лире, соколиной и прочей ловитве; Гибельный Лес, Башня Слез, Альдебаран, Бетельгейзе – гром боевых сарацинских кличей. Великолепные подвиги, великолепные воины, сверкающие в страшных созвездиях над балконом Боке: сэр Перикард, Черный рыцарь, и сэр Перимон, Красный рыцарь, и сэр Пертолип, Зеленый рыцарь, и сэр Персиант, Индиговый рыцарь, и грубоватый старик сэр Груммор

<sup>22</sup> «Роман о телеге» (фр.)

Грумморсум, вполголоса изрыгающий северные богохульства. Полевой бинокль никуда не годится, карта смялась, размокла и «Да держи ты фонарь как следует» – это к миссис Боке.

Вздохни поглубже. Вглядись еще раз.

Ланселот улетел; надежда повидать его в этой жизни сравнима разве с надеждой свидеться в вечности. Ланселота изгнали из страны L'Eau Grise<sup>23</sup> (как мы могли бы назвать Великие Озера), ныне он скачет в пыли ночного неба почти с такою же быстротой, с какой наша вселенная (с балконом и черным, как смоль, садом в оптических пятнах) мчится к Лире короля Артура, туда, где пылает и манит Вега, – одно из немногих небесных тел, которые можно определить с помощью этой чертовой карты. Головы Боке кружит звездный туман – серый дым благовоний, безумие, дурнота бесконечности. Но им не по силам оторваться от ночного кошмара космоса, не по силам вернуться в светлую спальню, угол которой виден сквозь стеклянную дверь. И, наконец, как крохотный костер, занимается их Планета.

Там, направо, Мост Меча, ведущий к Миру Иному («dont nus estranges ne retorne»<sup>24</sup>). Ланселот ползет по нему в великой муке, в несказанных страданиях. «Ты не должен входить в теснину, что зовется Тесниной Опасностей». Но другой чародей велит: «Ты должен. Да наберись чувства юмора, оно тебя вывезет из передрыг». Отважным старым Боке кажется, будто они разглядели Ланса взбирающимся на кошках по стеклянной скале небес или беззвучно бьющим тропу в рыхлых снегах туманности. Волопас, где-то между лагерем X и лагерем XI, гигантский глетчер, каменистые осыпи и ледопады. Мы вглядываемся в змеевидный маршрут восхождения, кажется, мы различили худощавого Ланса между нескольких обвязанных веревками силуэтов. Упал! Кто это был, он или Денни (молодой биолог, лучший друг Ланса)? Ожидая в темной долине у подножья отвесного неба, мы вспоминаем (миссис Боке яснее, чем муж) те особые имена трещин и ледяных готических построек, которые Ланс в альпийской юности (сейчас он старше несколькими световыми годами) произносил с таким профессиональным пылом: сераки и шрунды, глухие удары лавин; французское эхо и германская ворожба, запанибрата бражничающие, как в средневековых романах.

Да вот же он! Пересекает распадок между двух звезд, затем очень медленно пытается траверсом пройти стену с таким уклоном и столь неуловимыми зацепками, что при одном воспоминании о шарящих пальцах и скребущих ботинках изнутри поднимается тошнота акрофобии. И сквозь потоки слез старики Боке смотрят, как Ланс отдыхает на скальном карнизе, и снова ползет вверх, и наконец, в пугающей безопасности стоит с ледорубом и рюкзаком на пике из пиков, и свет окаймляет его острый профиль.

Или он уже направляется вниз? Я думаю так: что вестей от экспедиции не приходит, и старики Боке продолжают свои трогательные бдения. Пока они ждут возвращения сына, каждая тропа, которой он спускается, кажется им сбегающей в бездну их отчаяния. Но может быть он проскочил те нависшие над пучиной сырые, отвесные плиты, одолел свес и теперь блаженно скользит по крутым небесным снегам?

И однако, поскольку звонок у дверей Боке не звонит в миг логической кульминации воображаемой вереницы шагов (с каким терпением не замедляем мы их, пока в нашем сознании они подходят все ближе), нам приходится отбрасывать сына назад и заставлять его начинать восхождение заново, а потом отводить его еще дальше, так что он опять попадает в базовый лагерь (там палатки, открытые ретирады, и попрошайки-дети с грязными босыми ногами) много спустя после того, как в нашем воображении он наклонился, проходя под тюльпанным деревом, чтобы подняться лужайкой к двери и к дверному звонку. Словно утомленный множеством появлений в сознании родителей, Ланс теперь устало бороздит грязные лужи, лезет по скату горы посреди ландшафта, измученного далекой войной, оскальзываясь и запинаясь о мертвые травы откоса. Осталось немного скучной скальной работы, а там и вершина. Гряда взята. У нас большие потери. Как о них извещают? Телеграммой? Заказным письмом? И кто приводит приговор в исполнение – особый посланник или обыкновенный бредущий нога за ногу красноносый почтмейстер, всегда немного на

<sup>23</sup> Серая вода (фр.)

<sup>24</sup> «откуда ни один не возвращался» (фр.)

взводе (у него свои неприятности)? Распишитесь вот здесь. Большой палец. Маленький крестик. Карандаш слабоват. Тускло-лиловая древесина. Карандаш верните. Неразборчивый росчерк покачнувшегося несчастья.

Впрочем, никто не пришел. Минул месяц. Шин и Шилла чувствовали себя превосходно и, похоже, очень привязались друг к дружке – спали вместе в ящике, свернувшись в пушистый шар. После многих попыток Ланс обнаружил звук, определенно приятный шиншиллам, – нужно выпучить губы и быстро испустить подряд несколько мягких и влажных посвистов, – словно через соломинку тянешь со дна последние капли питья. Но родители не умели его издавать, – тон ли был неверен или что-то еще. И такая нестерпимая тишь стояла в комнате Ланса с потрепанными книгами на разнокалиберных белых полках, со старыми теннисными туфлями и относительно новой ракетой в бессмысленно оберегающем ее станке, с пенни на дне одежного шкапа, – все радужно расплывается, но ты подтягиваешь винт, вновь добываясь резкости. И Боке возвращаются на балкон. Достиг ли он своей цели, и если достиг, – видит ли нас?

#### 4

Классический по-смертный упирает локти в украшенную цветами закраину, чтобы рассмотреть свою землю, свою игрушку, волчок, в медленном показе кружащий посреди модельной небесной тверди, каждый штрих на нем так весел и ясен – красочные океаны, молящаяся женщина Балтики, мгновенный снимок грациозных Америк, пойманных в миг цирковой игры на свободной трапеции, и Австралия – будто малютка-Африка, лежащая на боку. Среди моих ровесников есть, наверное, люди, наполовину верящие, что души их с содроганием глянут с Небес и узрят родную планету опоясанной широтами, перетянутой меридианами и, быть может, размеченной жирными, черными, дьявольски искривленными стрелами мировых войн; или, что гораздо приятнее, расстеленной перед их взором вроде картинных карт отпускных Эльдorado, в одном углу которых бьет в барабан индеец из резервации, в другом устроилась девушка в шортах, там лезут на горные склоны хвойные конусы и всюду полно удильщиков.

Я думаю, что в действительности мой юный потомок в первую его ночь снаружи, в воображаемом безмолвии невообразимого мира увидит поверхностные черты нашего шара сквозь глубины его атмосферы, а это значит – сквозь пыль, рассеянные отражения, дымку и разного рода оптические ловушки, так что континенты, если они вообще проглянут в изменчивых облаках, будут скользить мимо в причудливых обличьях, в неизъяснимом мерцании красок, в неузнаваемых очертаниях.

Но это все пустяки. Главная проблема вот в чем: Сумеет ли разум исследователя пережить потрясение? Я пытаюсь представить природу этого потрясения с той ясностью, какую допускает душевное здравие. И если даже простое усилие воображения чревато такой ужасной опасностью, как же тогда удастся снести и одолеть этот ужас в реальности?

Прежде всего, Лансу придется столкнуться с атавистическим импульсом. Мифы так прочно укоренились в сияющем небе, что обычный разум норовит увильнуть от затруднительных поисков скрытого за ними далеко не здравого смысла. Должна же быть у бессмертия своя звезда для постоа, если оно желает цвести и ветвиться и расселить тысячи синеперых ангельских птиц, поющих так сладко, как юные евнухи. В глубине человеческого сознания понятие смерти синонимично понятию расставанья с землей. Убежать ее притяжения – то же самое, что переступить край могилы, и человек, попавший на другую планету, в сущности, не имеет возможности доказать себе самому, что он не умер, – что старый наивный миф не оказался прав.

Меня не заботит тупица, обезьяна бесшерстная обыкновенная, способная переступить через что угодно, – единственное, что она помнит из детства, это мула, который ее укусил, единственное, что предвкушает в будущем, это образ стола и постели. Я думаю о человеке с воображеньем и знаниями, отвага которого безгранична, потому что его любопытство превосходит отвагу. Такого ничем не удержишь. Это тот же *curieux*<sup>25</sup> стародавних времен,

<sup>25</sup> Любознательный (*фр.*)

только сложеньем покрепче да сердцем погорячей. И когда дойдет до изучения планет, он первым удовлетворит жгучую потребность потрогать собственными руками, погладить и поглядеть, улыбнуться, принюхаться и еще раз погладить – с той же улыбкой безымянного, стонущего, тающего наслаждения – никем до него не тронутое вещество, из которого состоит небесное тело. Всякий настоящий ученый (не посредственный жулик, разумеется, чьим единственным достоянием является невежество, которое он прячет, словно сладкую кость) должен испытывать это чувственное упоение прямым, божественным знанием. Ему может быть двадцать, может быть восемьдесят пять, но без этой дрожи науки не существует. Ланс из такого теста.

Напрягая фантазию до последних пределов, я вижу, как он борется с ужасом, которого обезьяна и испытать-то не может. Несомненно, Ланс мог высадиться в оранжевом облаке пыли где-нибудь посередине пустыни Тарсис (если это пустыня) или вблизи какого-нибудь пурпурного пруда – Феникса или Оти (если это все же озера). Но с другой стороны... Понимаете, по тому, как происходят такие вещи, что-то наверняка должно разрешиться сразу, страшно и необратимо, иное же будет подступать постепенно и постепенно разгадываться. Когда я был мальчиком...

Когда я был мальчиком, мне – лет в семь или в восемь – часто снился невнятно возвратный сон, который разыгрывался в обстановке, мною так и не узнанной, не определенной сознательно, хоть мне и пришлось повидать немало чужих земель. Пожалуй, я заставлю его послужить мне теперь, чтобы заткнуть зияющую прореху, рваную рану в моем рассказе. Ничего живописного в той обстановке не было, ни страшного, ни даже странного; просто обрывок неуловимого постоянства, представленного обрывком ровной земли и затянутого сверху обрывком безликого облака; иными словами, скудный испод пейзажа вместо его лицевой стороны, – сон досаждал мне тем, что по какой-то причине я не мог обогнуть этот вид, чтобы встретиться с ним на равных. Там в тумане таилась некая масса – кремнистая или иная в этом же роде – угнетающей и совершенно бессмысленной формы, и пока тянулся мой сон, я все наполнял какую-то емкость (передадим ее словом «ведро») формами поменьше (передадим их словом «камушки»), а из носу у меня капала кровь, но я был слишком нетерпелив и взволнован, чтобы им заниматься. И всякий раз в этом сне кто-то вдруг принимался истошно вопить за моей спиной, и я просыпался с таким же воплем, продлевая им анонимный исходный вой с его начальной нотой нарастающего восторга, – но уже безо всякого смысла, содержавшегося в нем, – если в нем вообще содержался смысл. Так вот, относительно Ланса, я склонен предположить, что какое-то сходство с моим сновидением... Но самое забавное, что пока я перечитывал написанное, его основа, фактические воспоминания, расточались – и к настоящей минуте расточились совсем, – мне нечем теперь доказать себе самому, что за описанным стоит какой-либо личный опыт. Я собирался сказать, что может быть Ланс и его спутники, когда они достигли своей планеты, испытали нечто схожее с моим сновидением, – впрочем, теперь уж не моим.

## 5

И они возвратились! Верховой, скок-поскок, мощеной улочкой подлетает под проливным дождем к дому Боке и выкрикивает огромную новость, на минуту приостановясь у калитки под роняющим капли лирным деревом, и Боке вылетают из дома, как гистрикоморфные грызуны. Они возвратились! Пилоты, астрофизики и один из натуралистов (другой, Денни, погиб и оставлен на небе старый миф отыграл очко).

На шестом этаже провинциальной больницы, тщательно скрываемой от газетчиков, мистеру и миссис Боке говорят, что их мальчик в маленькой комнате для свиданий, вторая направо, и готов их принять; в тоне сообщения слышна почтительная заминка, словно речь идет о короле из волшебной сказки. Войти следует тихо, там все время будет сиделка, миссис Кувер. Нет-нет, с ним все в порядке, заверяют их, – собственно говоря, на той неделе его отпустят домой. Однако, не следует задерживаться дольше, чем на пару минут, и пожалуйста, никаких расспросов, – просто поболтайте о том, о сем. Ну, вы же понимаете. А после

скажите, что опять заглянете завтра. Или послезавтра.

Ланс, в сером халате, коротко стриженный, загар сошел, изменился, не изменился, изменился, худой, с кусочками ваты в ноздрях, сидит на краю кушетки, сжав ладони, немного смущенный. Встает, покачнувшись, с лучистой гримасой и садится опять. Миссис Кувер, сиделка с голубыми глазами, без подбородка.

Выдержанное молчание. Затем Ланс:

– Там было чудесно. Просто чудесно. Я собираюсь вернуться туда в ноябре.

Пауза.

– Похоже, Шилла на сносях, – говорит мистер Боке.

Быстрая улыбка, легкий поклон удовлетворенной признательности. Затем повествовательным тоном:

– Je vais dire ça en français. Nous venions d'arriver...<sup>26</sup>

– Покажите им письмо Президента, – встречает миссис Кувер.

– Мы только что высадились, – продолжает Ланс, – Денни был еще жив, и первое, что мы с ним увидели...

Неожиданно всполошившись, сиделка Кувер прерывает его:

– Нет, Ланс, нет. Нет, мадам, прошу вас. Никаких контактов, приказ доктора, прошу вас.

Теплый висок, холодное ухо.

Мистера и миссис Боке выпроваживают. Они торопливо идут – хотя торопиться некуда, куда теперь торопиться? – по коридору, вдоль убогих охряно-оливковых стен с коричневой полосой между охряным верхом и оливковым низом, ведущей к дряхлому лифту. Поднимается вверх (мельком – старец в кресле-каталке). В ноябре возвращается (Ланселин). Опускается вниз (старики Боке). Там, в лифте, две улыбающихся женщины и объект их веселой симпатии, девчушка с младенцем, бок о бок с седым, согбенным, хмурым лифтером, который стоит, повернувшись ко всем спиной.

*Итака, 1952*

---

<sup>26</sup> Я расскажу по-французски. Мы только что прибыли... (фр.)